



# РОССИЙСКИЙ КОЛОКОЛ



ЖУРНАЛ  
№ 7-8

2019



МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

Журнал «Российский колокол»

Альманах

**Российский колокол №7-8 2019**

«ИП Березина Г.Н.»

2020

УДК 82.161.1(051)  
ББК 82(2)6

## **Альманах**

Российский колокол №7-8 2019 / Альманах — «ИП Березина Г.Н.», 2020 — (Журнал «Российский колокол»)

ISBN 978-5-907306-21-9

Рада приветствовать авторов и читателей очередного, последнего в 2019 году, номера литературного журнала «Российский колокол». Для каждого из нас год был по своему разнообразным: кому-то он запомнился яркими событиями и творческим взлетом, кого-то баловал белыми полосами в жизни и работе. А мы, в свою очередь, на протяжении этого года продолжали знакомить вас с талантливыми писателями современности. В новом выпуске мы, как и прежде, представляем вашему вниманию высококачественную художественную литературу, объединив произведения рубриками, что дает возможность выбрать по вкусу и верно сориентироваться в наиболее интересных для вас публикациях в каждой отдельно взятой рубрике. Выпуск получился разнообразным по жанрам, эмоционально живым и искренним!

УДК 82.161.1(051)  
ББК 82(2)6

ISBN 978-5-907306-21-9

© Альманах, 2020  
© ИП Березина Г.Н., 2020

## Содержание

Слово редактора	6
Журнал для всех и для каждого	7
Современная проза	8
Клара Калашникова	9
Семейная традиция	9
Селёдка – соль	10
Картошка – второй хлеб	10
Лук – слёзы	11
Свёкла – радость	11
Яблоко – райский сад	11
Морковь – любовь	12
Яйцо – новая жизнь	12
Майонез – то, что скрепляет	12
Литература зарубежья	14
Дмитрий Спирко	15
Райского Лета последние дни	15
Виноградники Прованса	16
«Галимар»	17
Где ж это я?	17
Добрый Эз!	18
Именно Здесь	19
Лазурь	19
Azur	20
Морская Гладь	20
По Берегу Солнечной Франции	21
По Дороге на Ла-Тюрби	21
Рай	22
Спасибо за Эз!	23
У Франции свой Виноград!	23
У Французского Вина	24
Хлеб Франции	25
Литературная критика	27
Анатолий Ливри	28
Анатолий Ливри – созидающий	29
Yeah, right	30
Жом	32
Конец ознакомительного фрагмента.	50

# Журнал Российский колокол. Выпуск № 7-8



При перепечатке ссылка на альманах Журнал «Российский колокол» выпуск 7–8 – обязательна. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

## **Учредители**

Московская городская организация Союза писателей России,  
Фонд «Литературный фонд Петра Проскурина»

## **Адрес редакции**

107023, г. Москва, ул. Никитская Большая, 50а, стр. 1

## **Электронная почта**

[pressa@inwriter.ru](mailto:pressa@inwriter.ru)

## **Электронная версия**

[ros-kolokol.ru](http://ros-kolokol.ru)

## Слово редактора

*Анастасия Лямина*



Член Интернационального Союза писателей, журналист, публицист.

## **Журнал для всех и для каждого**

Рада приветствовать авторов и читателей очередного, последнего в 2019 году, номера литературного журнала «Российский колокол».

Для каждого из нас год был по своему разнообразным: кому-то он запомнился яркими событиями и творческим взлетом, кого-то баловал белыми полосами в жизни и работе. А мы, в свою очередь, на протяжении этого года продолжали знакомить вас с талантливыми писателями современности.

Вот уже 25 лет «Российский колокол» являет собой своеобразную выставку достижений литературы современности. Авторы, с которыми вы встречаетесь в нашем издании, это не только люди знаменитые, как говорят – «из первых рядов современной литературы». Кстати, с ними мы всегда знакомим читателей в постоянных рубриках «Современная проза», «Литература зарубежья», «Критика». Но есть на страницах «Российского колокола» достойное место и для авторов, которые только набирают литературный вес и опыт, однако, весьма уверенно взбираются на творческий Олимп! С их творчеством вы можете познакомиться в рубриках «Литературная гостиная» и «Голоса провинции».

В новом выпуске мы, как и прежде, представляем вашему вниманию высококачественную художественную литературу, объединив произведения рубриками, что дает возможность выбрать по вкусу и верно сориентироваться в наиболее интересных для вас публикациях в каждой отдельно взятой рубрике. Выпуск получился разнообразным по жанрам, эмоционально живым и искренним!

## Современная проза

# Современная проза



Российский  
колокол



## **Клара Калашникова**



Светлана Бахтина (псевдоним Клара Калашникова). Родилась 19.12.1972 г. Закончила филологический факультет КГУ, затем психологический факультет. Занимается арт-терапией. Пишет, рисует, проводит тренинги для раскрытия творческого потенциала. Публикации: книга «Истории нашего двора» (2015). Рассказ в сборнике «Школа жизни» (2015).

### **Семейная традиция**

Скоро праздник, а значит, приедет мама. Сядем мы с ней на кухоньке за стол, наварим овощей и начнём готовить нашу любимую «Селёдку под шубой». И пока руки дело делают, начнётся неспешный разговор о делах, о близких и родных, да и просто о жизни. Бывает, что, укладывая слой за слоем, заговорит мама про детство, про семью бабушки. И тогда я, много раз слышавшая эти нехитрые истории, снова чувствую связь с тем временем, когда меня ещё не было. Представляю маму маленькой, а бабушку молодой. И простая, ничем не примечательная семья, каких, наверное, тысячи, кажется мне не такой уж обычной, а моей, родной и поэтому особенной. И мама привычно начнёт перебирать в памяти события тех далеких лет, не забывая давать мне кулинарные советы.

## Селёдка – соль

Как же я люблю селёдочку! Требования к ней особенные, как к невестке. Чтобы шкуркой серебристая, икоркой пузатая. Лежит в пряном рассоле, маринуется. Как её солить, чтобы со вкусом – рецепт семейный, но вам скажу – на две меры соли одну меру сахара. Поддержишь её сутки в рассоле, с гвоздичкой и перцем потомишь, перевернёшь – аж руки чешутся от пряного рассола. Оближешь пальцы, зажмуришься: вкусно! Раньше как говорили, когда в гостях плохо накормят? «Несолоно хлебавши». Это потом учёные открыли, что соль усиливает вкусовые качества еды. В этом и суть соли, – хоть и не сахар она, но вкус жизни не просто придаёт, – усиливает. Недаром в народе говорят: «Соль жизни». Но мало посолить сельдь, её и разделать уметь надо. Самое вкусное – жирная спинка. В боках костей много, – работа кропотливая, прямо тест на внимание. Иначе одна косточка – и праздник насмарку. Тщательно проверить все кусочки, а потом мелко порубить кубиками – для верности. И вот крошишь, трёшь, укладываешь слой за слоем, и всякое-разное вспоминается.

Когда началась война, маме исполнилось два года. Её отца, моего будущего дедушку Сашу, забрали на фронт. Это было в самом начале войны, в Белоруссии. Дедушкин полк окружили немцы и загнали в болото. Два дня сыпал снег, болото покрылось корочкой льда, солдаты сидели в нём по грудь, а сверху шёл обстрел из миномётов. Уцелевших немцы взяли в плен и повели через село. Дедушка и ещё один солдат сбежали и спрятались в хате. Дедушка залез в печь и задвинул заслонку, его товарищ укрылся в шкафу, немцы его нашли, а дедушку нет. Повезло, что перепуганная хозяйка дома не выдала. Она же и подлечила деда (после болота был сильный кашель), а как выздоровел, он ушёл к партизанам. Через несколько лет, когда наши погнали гитлеровцев обратно, дедушка присоединился к действующей армии и воевал. Но не до победного мая 1945-го, а успел ещё и на Японскую попасть.

## Картошка – второй хлеб

Картошку варить надо в мундире, прямо как военно-обязанную. Потом быстро под ледяную воду на минуту-две – и шкурка легко сойдёт, только поддень острым ножом, да и сними тонкую стружку. И на крупной тёрке её – хорошо пойдёт, мягко. Иногда пробуешь – чуть сладковатая на вкус, – значит, подмороженная. Мама такую любит.

В войну за счёт картошки и выжили. Весь хлеб сдавали, мама моя ребёнком ходила по полю, ноги исколола, потому что обуви не было. Собирала оставшиеся колоски, хоть по горсточке принесет каждый ребёнок села, хоть на одну буханку больше испекут – вот и жизнь кому-то на день продлили. «Всё для фронта, всё для победы!» А самим сельчанам оставалась картошка, она и спасала от голода.

Тру я её, родимую, и слушаю мамины рассказы. Семья без мужчин была такая: мамина бабушка ещё жива была, маминой маме Асе под тридцать, и детей у неё трое, а муж на фронте. Мама Роза была средняя из деток. Намоют, значит, бабушки ведро картошки, дадут ей и старшей сестре в руки тёрку – они и трут вместе с кожурой. Кожуру в то время чистить – бесполезный расход еды. Тёрла мама картошку и засыпала от усталости прямо у ведра. Потом в эту сырую картошку добавляли лебеды, – муки ведь не было, – и в печку. Пеклись твёрдые серые лепешки, некрасивые, зато сытные. Зимой картошка мороженная была, и лепёшки сладкие получались – уже одно это было детям в радость.

## Лук – слёзы

Когда лук чищу, всегда слезами обливаюсь. Мама смеётся: «Пусть твои слёзы будут только луковыми!» Она знает, о чём говорит. Бабушка во время войны пропадала дотемна на работе: сядет утром на лошадь и поскачет по сёлам – женщина с образованием зоотехника, ох как нужна она была в то время! Но вот не смогла всех своих детей уберечь, умерли они от болезней. Из троих одна дочь, моя мама, и осталась. Слёзы были тогда не луковые, но плакать над мёртвыми было некогда – надо было живых спасать. А хозяйство на девяностолетней прабабушке, семидесятилетней бабушке и четырёхлетним ребёнком, моей маме, держалось. Я всё визнавала у неё, выпрашивала: от чего она ребёнком плакала или смеялась? Мама на это сердится: «Какие глупости говоришь! Холодно было – помню, голодно было – помню, страшно – бывало... А слёзы лить сил не было, да и зачем это? Слёзы горю не помогут». Не любит она детство вспоминать. Правда, самое светлое воспоминание её детства был Новый год. Дети приходили в сельский клуб, а там стояла ёлка, наряженная самодельными игрушками – то ли бумажными, то ли тряпичными, у кого что под рукой было, из того и делали. Налюбуются детки этой ёлкой, напьются стаканом горячего жидкого чая, а к нему – маленькую булочку давали, из тех колосков, что дети насобирали. И вот оно, ощущение мира, тепла, и на душе легко. Война – войной, а детство – детством.

## Свёкла – радость

Теперь очередь свёклы. Ох, будут пальцы в бурых пятнах, никакой маникюр не спасёт. Но тут уж каждая хозяйка сама выбирает: либо белые ручки, либо сытая и довольная семья. Ну я-то давно эту проблему решила – традиция важнее.

«Раньше девки свёклой губы красили и щёки терли – вот самая лучшая органическая косметика!» – смеётся мама, и мне весело. Радость в нашей семье тоже была, а как же? Вспомнила вдруг мама, как однажды увидела, что бабушка Ася во всю рысь несётся на лошади и кричит: «Война кончилась! Война кончилась!» Мама моя сильно испугалась: если война кончилась, как жить дальше? Ей тогда только шесть исполнилось, и она думала, что без войны жизни не бывает. А потом дедушка Саша, её папа, с фронта вернулся – вот это была радость так радость! Живой, руки-ноги-голова – всё на месте. Да ещё орден Красного Знамени на груди – чем не герой?

## Яблоко – райский сад

Настал черёд и фрукта. Яблоко лучше брать зелёное, хрусткое, с кислинкой. Если кожица тонкая – можно и с ней на мелкой стороне натереть, а если грубая – кожуру снять. Яблоки я помню уже из своего детства. Идёшь по саду, вечернее солнце покрывает золотисто-розовой пылью всё вокруг. Листья тоненько шелестят на ветру, как будто звенят. На ветке осталось одно наливное яблоко, зеленовато-жёлтое, с едва проступающим румянцем. Бабушка снимает его и даёт прямо мне в руки: «Тебя ждало!» Тяжёлое оно, сочное и холодное. И название подходящее – Северный Синап.

Сад был посажен уже после войны, когда бабушка с дедушкой переехали в райцентр. Страна выходила из разрухи, лишних рук не было – все были нужны. Снова трудились, строили светлое будущее и очень надеялись, что детям их больше не придётся переживать голод и страшные беды. Что будут они жить в Городе-Саде и все будут счастливы, и всего будет в достатке.

## **Морковь – любовь**

Кто-то делает сначала морковь, потом яблоко, а мы так привыкли. Сладкая морковка, поэтому и говорят, наверное: любовь-морковь... Любовь в нашей семье тоже была, крепкая, но не напоказ. Дедушка прожил с бабушкой всю жизнь – тогда вообще не принято было разводиться. Да и не в этом дело было. Спасла бабушка своего мужа уже после войны. А история такая: в 1946 году бабушка получила от дедушки тайком переправленное письмо, что он в штрафбате восстанавливает шахты Донбасса как дезертир, потому что пробыл один день в плену, после того болота. И пошла она в Министерство сельского хозяйства, где её мужа до войны знали как хорошего зоотехника. Как она просила, что говорила, неизвестно. Никто не хотел рисковать собой в то время и заступаться за «дезертира». Но бабушка всё-таки смогла достучаться до чиновников, и ей всё-таки помогли вернуть работника колхозу, а дедушку семье.

## **Яйцо – новая жизнь**

Вот и пришло время последнего слоя. Красивым он должен быть, прикрыть селёдкину шубку, словно снежком присыпать. Варёные яйца делим на белки и желтки. Трём на самой мелкой тёрке, аккуратно присыпаем белками, как пушистым снежком. Тут главное по бокам хорошо промазать майонезом и уложить. Похожа шуба стала на шапку, сверху делаем жёлтый круг – как будто выглянуло зимнее солнышко. Этот последний слой можно доверить даже ребёнку – пусть приобщается к традициям. И сразу эту красотищу в холодильник – чтобы селёдка под шубкой не вспотела!

А новая жизнь и правда настала. Только она была не такая уж и светлая, как мечталось. У Саши и Аси родилось ещё двое детей, внуки пошли. Казалось бы, вот оно, мирное спокойное время, дождались. Но на бабушкино поколение пришлась не только война, голод, разруха, их застала и перестройка. Сгорели все сбережения, которые старики всю жизнь копили, откладывали – не для себя, а для тех, кто будет продолжать род – для нас. И бабушка уже на пенсии снова пошла работать – контролёром в автобус.

Помню, как она ругала небритого мужика за то, что едет «необилеченый». Тот в ответ огрызнулся, но бабушка его переупрямила – и высадила зайца. А вот у школьников она за проезд пятаков не брала, и когда это всплыло, до хрипоты спорила с начальником Трансагентства: «Они ещё денег не заработали, как с них брать?» Ей грозило увольнение, но она всё-таки отстояла свою позицию и осталась на работе. Такое у неё было чувство справедливости и отважный характер.

## **Майонез – то, что скрепляет**

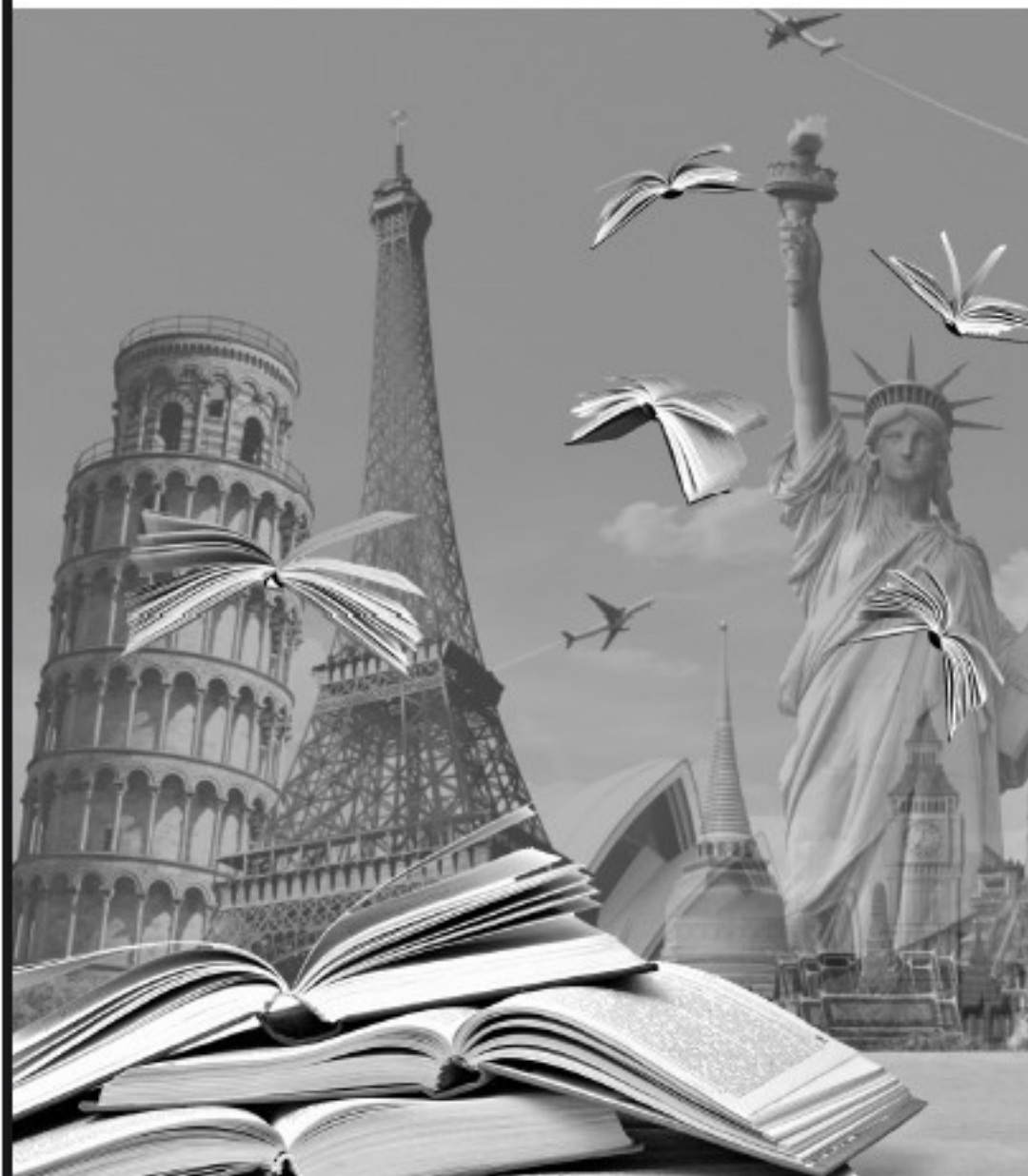
Говорят, что майонез придумали французы. Но его у нас так любят, что мы и сами могли бы когда-нибудь догадаться! Его у нас даже просто так едят – мажут толстым слоем на чёрный ноздреватый хлеб, как бутерброд. Иностранцы, наверное, сразу про холестерин вспомнят, про фигуру и желудок, – а нам всё нипочём! Вкусно – и на здоровье! Майонез – это то, что скрепляет все слои в одно целое, придаёт салату сочность и смак.

Смак в нашей жизни тоже есть, и он в том, что она не чёрно-белая, а разноцветная, как селёдка под шубой. Когда заканчивается один слой, начинается другой, но видишь и понимаешь весь смысл происходящего ближе к концу, на срезе. Скажу вам ещё секрет, но не кулинарный, а житейский. То, что скрепляет всех нас, – это и есть наш род, фамилия, семья. Это те истории жизни, что рассказывали нам и будем пересказывать мы своим детям и внукам. Сидя

вместе за обеденным столом, как было принято много лет назад, вспоминая и поддерживая семейные традиции.

## Литература зарубежья

# Литература зарубежья



Российский  
колокол

## Дмитрий Спирко



«Российский колокол» в рубрике «Ближнее зарубежье», предоставляя место Русскому Слову, вольно творящему границы писательского творчества, всемерно расширяет литературный кругозор присутствием особенной, всепроникающей, притягательной культурной среды.

Эту ментальность знают, ценят, в неё окунаются с живым интересом всюду, и тем более в местах, где её носители оставили след в академической истории края или страны, в которой имеют честь представлять свои мировоззренческие высоты.

Вне сомнения, с радостью и нетерпением, предвкушая духовное пиршество, ждут свежих выпусков «Российского колокола» и во Франции на её светоносном Лазурном берегу.

Где культура Галлии, общечеловеческая культура в образах исчерпывающей и благодарной русскости содержательно расцвечены и художественно ценны.

В подтверждение именно этому явлению на страницах журнала вниманию читателя представляется взаимный сопутствующий порыв – ряд стихотворений о чувствах, мыслях, рождённых душою под благодатным солнцем французской Ривьеры.

Эпизоды же моей авторской биографии ничем не отличаются от представленных в предыдущих номерах журнала. Поэтому и не занимают священной территории Русского Слова.

### Райского Лета последние дни

Райского Лета последние дни...

Не познаваясь в сравнении,  
Шёлковой гладью струятся они  
В Солнечном Сочинении!

В Памяти Трели, Волна, Вдохновение,  
Красок Романтики Колорит,  
Глубина Чувств, Волнений Цветение,  
Остров Мечтаний, что в Дали манит!

Ясное Небо, Лучи, всё пронзаючи,  
Ветер, мерцающий Тёплой Струёй,  
Крылышки бабочек тех, что порхающе  
Сад разукрасили Яркой Семейей!

Неизмеримые Счастья Былинки,  
Света Раскрывшие Аромат!  
Жизнь превратившие в Чудо-Картинки —  
Те, что от Берега в Вечность парят!

В Памяти Сон. На исходе последние  
Райского Лета Прекрасные Дни!  
В этом Театре места все передние!  
Где же Куплеты? А, вот и они!

## **Виноградники Прованса**

Виноградники Прованса!  
Солнце в гроздьях Света!  
Клёкот птичьего романа  
Прославляет лето!

Вольной, искренней деревни  
Наслаждённый взгляд,  
Освежаясь тайной древней,  
Ценит виноград!

Зрелым соком насыщён  
Литый страстью день,  
Восхищеньем награждён  
Дуб, что дарит тень!

Ловкие во рвах ручьи  
Души теребят!  
Вроде бы они ничьи,  
Но к ним все хотят!

Вьётся в Небо пелена



Ароматов чувств.  
Луч французского вина  
Всех хмельней искусств!

Виноградники Прованса!  
Солнце в гроздьях Света!  
Клёкот птичьего романса  
Прославляет лето!

### **«Галимар» (коллективу парфюмерного предприятия)**

Восхищений радушных разгар!  
Вход свободен! Все гости в волнении!  
Парфюм избранных – «Галимар» —  
Мир Иллюзии в Откровении!

«Парадокс» – «Знойной Ночи» «Частица»  
Сотни лет сводит пары с ума!  
И «Интимный Дневник» как граница,  
Что «Занозой в Сердце» Сама!

Красота Неба Жизни в цветении!  
В Романтичности Радужных Дней!  
В Лучезарности! Во Вдохновении!  
В Высшем Таинстве Грёз и Страстей!

С «Полуслова» «Прошное лето» —  
В Саду Памяти «Нежная Веточка»!  
«Смесь» «Мечтания», Чувственность Эта  
И от Счастья желанная весточка!

Свет и «Женственность» – Чудо-Творения!  
В Сокровенный Божественный Дар!  
Дух Свободы и Вдохновения  
Парфюм избранных – «Галимар»!

*В кавычках название оригинальных духов выпущенных «Галимар»*

### **Где ж это я?**

В Проём между Скал раскинулось Море  
Лазоревое, Обильное!  
Ведёт вниз тропа, Душа на Просторе —  
Парящее Небо Всесильное!

По Этой Тропе спускаясь с Горы,  
Любуюсь Природы Картиной!  
Время настало Прекрасной Пору —  
Чувства навстречу Лавиной!

Иду, а Цвета расточают Сияние  
И Свет Лучезарно искрится!  
И раскрываются Крылья в Желании  
В Чудотворения влиться!

Лети же, Сознание, прямо со Взорья  
В Пределы Путей Бытия!  
В Проём между Скал! В Лазорево Море!  
О Солнце, да где ж это я?!

## Добрый Эз!

Над дорогой Ночное Кафе.  
Эз. За столиком пусть  
Дождь Осенний в строфе.  
Знает Дождь наизусть,

Что рожают в Мечтах  
Унесённые Ветром,  
Что у них в головах  
Под изысканным фетром.

Как в томимых сердцах  
Созревает прозрение.  
На которых словах  
Ставит Жизнь ударение.

Как Златое Вино  
Превращается в Танец  
И как с ним заодно  
Романтичный румянец.

Для чего Фонари  
Льют на блюда Янтарь,  
Почему нет Жюри,  
Когда в Круге бунтарь!

Всё похоже на Сон.  
Тихо. Пусто. Сентябрь.  
Между Скал Пантеон!  
Это в Море Корабль!

Добрый Эз! Каплет Ночь  
Прямо с Неба в бокал,  
Ты же точно не прочь,  
Чтоб писатель не спал?

И про Дождь написал.

## **Именно Здесь**

Как же Прекрасны Лазурные Дали  
В Дымке Безбрежных Лучей!  
Крылья Свободы Вольными стали  
Здесь, где Огонь Золотей!

Именно Здесь совершает Полёт  
Над Горизонтом Душа!  
Именно Здесь фиксирует Счёт  
Время, Эпохи верша!

Радость Открытия Высших Законов  
Случается именно Здесь,  
Где Ветерок с Восхитительных Склонов  
Лазурью Лазоревый весь!

Самые Белые Чувств Облака,  
Здесь обрамляя Путь,  
Сопровождают Строки в Века,  
Счастье давая вдохнуть!

И даже Огонь Золотей!

## **Лазурь**

Лазурь – Небесный колорит  
Земного Вдохновения!  
Свет Цветом Радуги разлит!  
Божественно Явление!

Лазурь – Лучей Любви тепло!  
Волнуют Волны Благостное Море!  
Свободы Распростёртое Крыло  
Парит в Неиссякаемом Просторе!

Лазурь – Желаний Красота  
Природой Чувств расцвечена!

Души Бездонная Мечта  
Прибоем Счастья встречена!

Лазурь!

## **Azur**

Le ciel d'azur est la saveur céleste  
De mon inspiration rapide mais incolore  
Les arcs en ciel essuient enlèvent détestent  
Le phénomène des pluies qui sèment qui tremblent qui pleurent

Le ciel d'azur est créé de ma tendresse  
Des vagues de la mer étincelante et belle  
Toujours la liberté toujours la grande promesse  
Que nous apportent encore les ailes des hirondelles

Le ciel d'azur le sentiment sublime  
Décorent nos jours comme l'odeur des fleurs  
Le ciel d'azur triomphe de l'abîme  
Comme la marée ou comme un grand Bonheur

Azur!

*Перевод с русского языка на французский*

## **Морская Гладь**

Расплавленным Золота Серебром  
Морская покрыта Гладь.  
Живые Лучи к огоньку огоньком  
Сверкают, умея сверкать.

Ковёр Драгоценный! О Святость Воды!  
О Красота Огня!  
Волны колышутся в Блесках Слюды,  
Искорки вспышек тесня!

В Гребни сливаются Жемчуга,  
Не уставая сиять!  
Смотрят восторженно Берега  
На Глади Чудесную Стать!

Неповторимая Мира Картина —  
Моря пылают Поля!

Так проливную Света Лавину  
Наша встречает Земля!

В Лазурном Пути Корабля!

## **По Берегу Солнечной Франции**

По Берегу Солнечной Франции  
Истории встали Дома!  
В простой их уверенной Грации  
Романтики Чувств Кутерьма!

Ведут приключений Дороги  
Туда, где волшебствуют Музы  
И где Приключений Боги —  
Живущие страстью французы!

Туда, где утех умудрённость  
Проворна, как острая шпага!  
А правил Судьбы Благосклонность —  
Достоинство, Честь и Отвага!

Туда, где в Поэмах рождаются  
Изысканных Повестей Драмы,  
А Крылья Искусств раскрываются  
В Холстах Неземной Панорамы!

В придворных интригах Сюжета  
Все Дни Бытия – Роковые,  
И в Вольном стремлении Света —  
Свободы волненья Живые!

В Религии Праведность Нации —  
Любви Легендарной Поток!  
По Берегу Солнечной Франции  
Мечтам не хватает строк!

## **По Дороге на Ла-Тюрби**

По Дороге на Ла-Тюрби  
Цветут Солнцем Кусты Жасмина!  
Бог Всевышний в Любви Сотворил  
Первозданную Света Картину!

С Высоты над Садами Ривьеры

Незабвенный Чарующий Вид!  
Красота Превосходнейшей Меры  
Лучезарным Сияньем парит!

Небеса Чудотворными Силами  
Несравненные Горы и Море  
Покрывают Всемирными Крылами,  
Находясь с Самой Вечностью в Споре

За Вселенское Верховенство  
В Совершенном, Счастливом Краю!  
Наполняются Души Блаженством  
Оказавшихся в Этом Раю!

Время пестует Каждый Миг,  
Расцветая Лазоревой Явью!  
Кто Здесь был, бесконечность постиг,  
За что Землю безудержно Славлю!

По Дороге на Ла-Тюрби  
Первозданного Света Картина!  
Бог Всевышний Благословил  
Грёзы Грёз над Кустами Жасмина!

## **Рай**

Небо Глубокое! Солнце Высокое!  
На Горизонте Мечта!  
Море Лазоревое широкое!  
Крылья! Полёт! Красота!

Линия Берега! Волны бурлистые!  
Тень Изумрудной Сосны!  
Чувства хмельные, как Вина Игристые,  
Выбору Счастья верны!

Боже Всевышний! Радость Волнения  
Силы дарит! Вдохновляет!  
Боже, спасибо за Откровения!  
Мир о них вновь узнает!

В Этом Краю раскрывается Стих  
В Чудотворений Расцвет!  
Таинства Явные, Вечности Миг  
Здесь воплощаются в Свет!

## **Спасибо за Эз!**

Старинные улочки Чувств незабытых...  
Пленит души вольные Эз.  
Есть место во Франции Таинств Открытых,  
Спустившихся с Самых Небес!

Во Всём Необычный Зимой и Летом,  
Особенный Страстным Уютом,  
Осыпанный Милостью – Солнечным Светом,  
И Звёздным Расцвечен Салютом!

Его Первозданные Горы и Море,  
Парящий Зарницею Лес  
В Садах Светоносных явились в Узоре  
Запечатлённых Чудес!

Тропинки, Ручьи, Огоньки Золотые,  
Пчёлы, творящие Мёд,  
Ступени – Подходы к Храму Взвитые  
И в Неизбывное Вход!

Его Колокольные Времени Звоны  
Величие Вех берегут.  
Красу расточают Лазури Фронтоны,  
Цветов Ароматы цветут!

Гирлянды Традиций свои Лепестки  
В Мозаику Красок слагают,  
А Вдохновенные Жизни Ростки  
Мгновения Дней озаряют!

Всевышний, спасибо за Эз!

## **У Франции свой Виноград!**

У Франции свой Виноград!  
Завидный, как Берег Лазурный!  
Красив, как ухоженный Сад,  
И видом чеканным скульптурный!

Он словно Весенний Град —  
Уверенный! Небом Богатый!  
Мечтает в Стихах всё впад  
И Счастьем Жизни объятый!

Он Солнечным Повестям рад  
И с Давних Эпох Культурный!  
Грезит под Звездопад  
И как Офицер – бравурный!

Как Мёд – лёгкой горечью сладок!  
Как Сон Бытия – сам не свой!  
Как Кладезь Загадок-Разгадок!  
А Нимб над ним – Золотой!

Под Лунным Шедевром Ночей,  
Когда вдруг запел соловей,  
В Рассветном Сиянье Лучей  
Он Божий... и больше ничей!

О Франции Виноград!

## **У Французского Вина**

У Французского Вина  
Винный свой Секрет —  
Философий Глубина!  
Размышлений Свет!

Зеркала Лихой Судьбы  
Явлены Интригой!  
И Романтикой Борьбы!  
И Застольной Книгой

О Блистательных Пирах  
И Аншлаг-Премьерах!  
О Сиятельных Мирах  
И Весомых Мерах!

О Свободных Парусах  
В Океанах Страсти!  
О Закона Берегах  
Сочинённой Власти!

О фривольности Надежд  
В Звёздных Кулуарах!  
О привольности Одежд  
В Самых Строгих Залах!

Об изысканности блюд  
В Радужных Долинах!



О том, как Альпийский люд  
Горд во всех Вершинах!

Неизбывностью Зарниц  
Всепланетной Славы  
Жизнь сияет со Страниц!  
И французы правы!

Философий Глубина!  
Откровений Свет!  
У Французского Вина  
На Вопрос – Ответ!  
Будем спорить? Нет!

## **Хлеб Франции**

На каждой улице Франции  
Ценят Качества Хлеба!  
На каждой Почтовой Станции!  
Под каждым кусочком Неба!

А всё потому, что в трудах  
Рождается Истины вкус!  
И в самых отважных делах  
Французский Дух явно не трус!

Все знают Прелесть Романтики —  
Живые Любовью Сердца!  
В них Чувств Бесподобные Бантики  
Дороже Любого Венца!

Все знают, что Честь и Смекалка —  
Желанные Спутники в Путь!  
Что Домохозяйства Прялка  
Ловка! И всех гордостей суть!

Что Страсти достойны Причины  
Достоинства и Благородства!  
Что Щедрой Судьбы Величины —  
Щиты от нужды и банкротства!

Вот так запекается Корочка  
Красот Лучезарной Страны!  
Ум – ниточка, Разум – иголочка!  
Шов крепок! Нет лучшей вины!

Есть Таинства, есть Откровения

В Секретах Французского Хлеба!  
Смак Счастья – Особенность Рвения!  
О да! И, конечно же, Неба!

Попробуйте Солнца Багет!  
Ну, как вам Изысканный Свет?!

## Литературная критика

# Литературная критика



Российский  
колокол

## Анатолий Ливри



Анатолий Ливри – доктор наук, эллинист, поэт, философ, бывший славист Сорбонны, ныне преподаватель Университета Ниццы – Sophia Antipolis, автор четырнадцати книг, опубликованных в России и Франции. Его философские работы получили признание немецкой Ассоциации Фридриха Ницше и неоднократно публиковались Гумбольдтским Университетом, а также берлинским издателем Ницше Walter de Gruyter Verlag. Открытия Анатолия Ливри-эллиниста признаны Ассоциацией эллинистов Франции Guillaume Bude и с 2003 года издаются её альманахом под редакцией нынешнего декана факультета эллинистики Сорбонны, профессора Алена Бийо (Alain Billault). В России Анатолий Ливри получил две международные премии: «Серебряная Литера» и «Эврика!» – за монографию «Набоков-ницшеанец» («Алетейя», Петербург, 2005), опубликованную на французском в 2010 году парижским издательством Hermann, а сейчас готовящуюся к публикации в Германии на немецком языке. Одновременно в Петербурге издано продолжение «Набокова-ницшеанца» – переписанная автором на русский язык собственная докторская диссертация по компаративистике – «Физиология Сверхчеловека», – защищённая Анатолием Ливри в Университете Ниццы – Sophia Antipolis в 2011 году с профессором Патриком Кийе.

Во время своего преподавания в университете Лазурного берега Анатолий Ливри написал русский роман «Апостат» (<http://za-za.net/dve-retsenszii-na-novy-j-roman-anatoliya-livri-apostat/>), о котором профессор Рене Герра заявил: «Ливри: эллинист, германист, философ, публикуемый ницшеведами Гумбольдтского Университета с 2006 года, автор сложнейшего романа «Апостат», выпущенного российским издателем Фридриха Ницше «Культурная рево-

люция», – произведения, где Ливри воспроизводит элементы метрики Гомера и Каллимаха» (Рене Герра, «Спаси Набокова. Докторская диссертация Анатолия Ливри» в «Вестнике Университета Российской академии образования», ВАК, 2014 – 1, Москва, с. 53–55. <http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/mandelstam-livry026.pdf>).

А экс-ректор Литинститута Сергей Есин так пишет об Анатолии Ливри-поэте в «Литературной газете», еженедельнике, который Др. Анатолий Ливри представляет как спецкор в Берне: «Понимаю ли я и могу ли расшифровать всё, о чём пишет Ливри, этот отчаянный и, может быть, последний солдат святой филологии в Европе? Да нет, не хватает ни эрудиции, ни точных знаний, но интуиция прекрасного на страже. Где мои университетские двадцать лет: сидеть бы со словарями, справочниками и географическими картами и разматывать эти кроссворды и ребусы... Какое изумительное волнение испытываешь, когда из слов вынимаешь замысел! Так опадает пересохшая глина с ещё горячей отливки. Спадает, а дальше – ликующая бронза!» (Сергей Есин, «Литературная газета», № 33 от 26 августа 2015 г., с. 4, [http://reading-hall.ru/lit\\_gazeta/33\(6521\)2015.pdf](http://reading-hall.ru/lit_gazeta/33(6521)2015.pdf)).

Роман Анатолия Ливри «ГЛАЗА» получил в 2010 году литературную премию им. Марка Алданова, присуждаемую нью-йоркским «Новым Журналом». Написанный в 1999-м – двадцатисемилетним Анатолием Ливри! – пророческий роман «ГЛАЗА» не мог появиться на свет в течение более чем десятилетия из-за клеветнической кампании, развязанной против Анатолия Ливри Сорбонной, а также сейчас умершим сыном Владимира Набокова Дмитрием-факты, сейчас преподаваемые самим Анатолием Ливри в МГУ и на своём семинаре Университета Ниццы, в то время как в Париже проходит судебное разбирательство между Сорбонной и алдановским лауреатом Ливри. Ведь только после того как Ливри стал самым молодым алдановским лауреатом, его литературное творчество получило полное признание как читателей, так и университетских специалистов. Однако клеветническая кампания прямых университетских конкурентов против Анатолия Ливри не прекратилась. В последнем «Вестнике Университета Российской академии образования» (ВАК) французский профессор-славист Рене Герра свидетельствует:

«Анатолий Ливри начал своё преподавание русской литературы в Сорбонне, в три года завершив докторскую диссертацию с той самой вышеупомянутой Норой Букс, «профессором» того же университета, совершившей в молодости одну выгодную сделку, однако совершенно неизвестной как учёный. Ни для кого не секрет позорные причины, с наукой не имеющие ничего общего, из-за которых Анатолий Ливри не смог защитить свою докторскую в Сорбонне, – подлинную ответственность, моральную и административную, за это несут те же живые и умершие гуру французской славистики: Мишель Окутюрье, Жорж Нива, Жан Бонамур, Жан-Клод Ланн, Никита Струве, Леонид Геллер, Жан Брейар, Жак Катто. Таким образом, Анатолий Ливри был вынужден защитить свою докторскую по сравнительной литературе с Патриком Кийе (Patrick Quillier), ибо давление на профессоров славистики привело к абсолютной невозможности собрать диссертационный совет по данной специальности. А нынешняя травля доктора наук Анатолия Ливри, выражающаяся уже пятью отказами ему в праве искать место французского доцента – не более чем та же самая, начавшая в 2002 году, месть ничтожеств». Проф. Рене Герра, «Бездарности французского университета против Анатолия Ливри», «Вестник Университета Российской академии образования», Высшая аттестационная комиссия (ВАК), Москва, 2015 – 4, с. 26. [http://urao.edu/images/vestnik/Vestnik\\_2015\\_04.pdf](http://urao.edu/images/vestnik/Vestnik_2015_04.pdf).

### **Анатолий Ливри – созидающий**

«Новое хочет создать благородный, новую добродетель». Эту фразу Фридриха Ницше я впервые прочёл у Анатолия Ливри, теперь доктора Университета Ниццы, и сразу запомнил её. Созидающий новую добродетель!.. Сам Анатолий Ливри, наверное, более всех наших

современников подходит под данное определение: славист, эллинист (публикующийся в академических журналах о неоплатониках и трагедиях Еврипида), специалист по французской и немецкой философии, изучивший в Сорбонне также латынь, иврит, древнескандинавский и санскрит, а главное для нас – самый утончённый стилист русской литературы, проживающий за границей России (о чём я уже не раз писал: Сергей Есин, Дневник – 2009, с. 369, <http://anatoly-livry.e-monsite.com/medias/files/sergei-esin-recteur-gorki.pdf>), Ливри, как Гоголь, служит русскому слову вне Родины своей необычной поэзией и ещё более восхитительной прозой.

Такие, как Анатолий Ливри, нигде и никогда не приходится ко двору! Сколько клеветы о Ливри мне пришлось выслушать в Литинституте и в Институте Философии РАН, в редакциях московских газет и на Западе, особенно после моего последнего предисловия к его стихам, изданным «Литературной газетой» (№ 33 (6521), 26.08.2015, с. 4, <https://lgz.ru/article/-33-6521-26-08-2015/likuyushchaya-bronza/>)! А сколько продажных «критиков по 30 евро за статейку» (сам я отсоветовал Анатолию снисходить до ответа этим ничтожествам) выплеснули о Ливри свою безудержную пошлость на страницы «культурологических» журналов после выхода в моём «Дневнике – 2015» (6 марта, [http://lit.lib.ru/e/esin\\_s\\_n/text\\_02115.shtml](http://lit.lib.ru/e/esin_s_n/text_02115.shtml)) драгоценного свидетельства из Франции о том, каким именно образом Вадим Месяц заполучил – с помощью своего отца – Бунинскую премию 2005 г. (кажется, тогда жюри премии так и кишело академиками РАН; возможно, в будущем независимые исследователи изучат, как конкретно всё-таки Месяц-младший, этот «мажор от литературы», удостоился своих «бунинских лавров» в том далёком 2005 году...). Как бы то ни было, я уверен, что доктору Анатолию Ливри – швейцарскому философу, русскому литератору и европейскому диссиденту, подобно Сирано де Бержераку, ещё не раз предстоит обнажить шпагу против «Лжи. Подлости. Зависти. Лицемерья».

Роман «Жом», или русский «Так говорил Заратустра» (как в шутку окрестил своё произведение сам Анатолий Ливри) – философская поэма, созданная в лучших традициях гоголевских «Мёртвых душ». Действительно, ни Гумилёв, ни Набоков, ни Мандельштам, ни любой другой ницшеанский литератор из России доселе никогда не писал русского «Так говорил Заратустра»! И вот наконец ритмическое Евангелие а la Фридрих Ницше для избранного русского читателя, поэма, где оказались вызваны к жизни (и, возможно, превзойдены?..) стиль, дух, образы, а также сверхчеловеческие цели Ницше, европейского философа, в 1872 году отказавшегося от прусского подданства ради продолжения уникальной научной карьеры в швейцарском Базеле – прирейнском городе, где сейчас живёт и творит Анатолий Ливри.

*Сергей Есин, ноябрь 2017 г.*

## **Yeah, right**

Написать предисловие к новому роману Анатолия Ливри – это и честь, и вызов. Почему честь – особых объяснений не требуется, Ливри в свои 45 лет – обладатель многих литературных премий, автор многих книг, эта – восемнадцатая, уже живой классик литературы, «самый яркий по стилю писатель, пишущий на русском языке» – это пишет ректор Литературного Института им. А. М. Горького, член правления и секретарь Союза писателей России, вице-президент Академии российской словесности С. Н. Есин. Вызов, потому что пишущий эти строки – представитель естественно-научной школы, и на какие темы я ни писал бы – пишу именно как «естественник». Анатолий Владимирович – мастер изящной словесности, изысканных оборотов, поэтому кто-то вспомнит про алгебру и гармонию, кто-то – про коня и трепетную лань.

Но Анатолий Владимирович Ливри уж точно никак не ассоциируется с трепетной ланью. Он – возмутитель спокойствия сплочённых коллективов литературных и прочих бездарностей, от чего они, бездарности, заходятся в истерике, строчат доносы, обращаются в суды, занимаются сутяжничеством, организуют письма «в инстанции», ведут борьбу не на жизнь, а на смерть. Почему так? Да потому что бездарности так устроены. Их возбуждают две основные причины, лишаящие спокойствия: страх за свою профессиональную «песочницу» и не «их» идеология. Шаг в сторону – побег из их коллектива. Публикации не в контролируемых ими изданиях – как минимум непозволительная вольность. Критика их «истеблишмента» – измена. И дело здесь вовсе не в славистах, которые сражаются с Ливри, это фундаментальная особенность бездарей. Они по-другому не могут, будь то изящная словесность или естественно-научные исследования возбудителем их спокойствия. Уж это-то автор данного предисловия может засвидетельствовать, плавали, знаем. Правда, сейчас бездари измельчали, раньше на меня писали анонимные письма Генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Л. И. Брежневу (именно с таким адресом на конверте), сейчас пишут в «Спортлото», то есть в сетевые газеты, но, правда, подписываются, потому что ощущают свою безнаказанность. В последнем письме были 24 подписи, но опять бездарности, как следует из их «научного вклада», разобранный в книге «Кому мешает ДНК-генеалогия» (Книжный мир, М., с. 845, 2016). Так что с «безнаказанностью» у них в том случае ошибка вышла. Французские бездарности из Совета французской славистики писали доносы на Ливри в Министерство просвещения Франции. Иначе говоря, аналогия с доносами в ЦК КПСС того времени.

Так всё-таки что им мешает сохранять спокойствие и принять как факт, что Анатолий Ливри выше их на две головы как философ, поэт, эллинист, славист, как классик изящной словесности, в конце концов? Попробую объяснить на простом примере. Идёт лекция, и лектор, из бездарных, «по накатанной» объясняет аудитории, что в английском языке двойное отрицание имеет позитивное значение, в ряде других языков двойное отрицание имеет негативное значение, при этом нет ни одного языка, в котором двойное позитивное выражало бы негативность. Ливри с верхнего ряда иронически подаёт голос: «Yeah, right!»

Ну как такое вынести бездарностям, которые «по накатанной»?

В завершение попытаюсь понять: почему новый роман имеет такое название? Говорю, я же «естественник», и как там у другого классика – «Я старый солдат и не знаю слов любви!» В общем, надо понять. Варианты: (1) в промышленности – пресс, давящая, тиски для выжимания..., в общем, не исключено; (2) в медицине – сфинктер. М-да, вряд ли; (3) в английском языке – агрессивный антисоциальный субъект, другой вариант – человек, не заслуживающий никакого внимания и заботы. Но поскольку роману свойственен ассоциативный характер изложения, это роман-лабиринт, то предоставляю читателю возможность найти свою ассоциацию.

Анатолий А. Клёсов

Бостон, Массачусетс

Доктор химических наук, профессор (Гарвардский и Московский университеты, АН СССР)

Член Всемирной Академии наук и искусств, основанной А. Эйнштейном

Академик Национальной академии наук Грузии (иностранный член)

Лауреат Государственной премии СССР по науке и технике и Премии Ленинского комсомола

Президент Академии ДНК-генеалогии (Москва – Бостон – Цукуба)

## Жом

*«...и управляет всем праздником дух вечного возвращения...»*

**Владимир Набоков**

Рёбра её хрустнули, – так трещит гигантская лучинка Ананки в зимне-индиговую ночь мира, прозванного мною Веселенной, – и дева, хлебнув собственной крови, мучнисто промычала молитву. Будто доселе дремавший вулкан, её рот извергнул на меня свою солёно-пунцовую лаву, завершив взрыв криком. Блаженно ответили ей нетели, стоном подзадорив саркастическую корчу теней, вольно свивавшихся наперекор приступу плоскоглазия Солнечной системы (как у иных случается плоскостопие!) – полнолунию. Однако главной задачей тёмных силуэтов было беспрестанно высекать искромётный ритм из валунов, – а они горному бору бесполезней, нежели запятые эммелии.

«Ува-а-аба-а-а-а!» – даже не гаркнул, но гортанно содрогнулся, мгновенно оголивши вычерненный язык, старейший огненосец ориебасия – небритый бас в бассаре до пят! – ферулой запаливши ель с ослепительным смоляным всплеском хризмы посреди пройм коры, поросших синим лишайником, подскочил на пару царских локтей, завертелся юлой и, завязнув в лисьих полах, проверещал: «Ю-ю-юлл-а-а!», отчего винная хохлатка стремглав бросилась в брусничник. А вся гора, натужно переведя рыдающе-загнанное дыхание, отозвалась, грохнув: «Лл-лиса!» – словно набрав полную грудь феноменальных литер, сейчас высвеченных в центре атласисто произумруженной просеки, поперхнулась смарагдовым смрадом.

И я пронзил предсердия девы! И я пил её дыхание, полное прошедшей зимы! И она четырьмя трепетными членами обвила меня. И зубы её кромсали мою бороду, свитую из самых сладких лоз. И виноградный дар мой омывал её зияющие дёсны, насыщался хмелем по мере протекания пищевода, распирая русло прежде неведанной ей негой, – схлёстываясь с нижними, кровавыми ручьями, бившими из желудка.

Пружина на выжженном мху, терпко исходящем нарождавшейся черникой, я ощущал замшево-замшелую опушку этого уничтожаемого мною тела, принудив его изогнуться (будто я был фракийским сагайдачником, а девственница композитной дугой аэда-анамата), отсалютовал сальной саливы, – и ворвался внутрь влагалища, издирая его в клочья на пути к матке.

Бор прочувствовал проникновение, лязгнул своё «Лисс-са! Лисссса-а!», от которого недавно дева кинулась в мои объятия, снопом рыжего ужаса сокрыв лицо, – и, подступив ближе, блеснул сквозь рой глянцевого-кадмовых сверчков серпетками тирсов, воздетых туда, к небесам, где золотом окованные тучи напозлали на луну, теперь рябую в муаровом отражении озера, – точно древний кратер погряз в трясине. Я продолжал погружаться в женщину, пока нерасчленённую, обрывая органы как гроздь, впрыскивая ей во внутренности порции надчеловечески пьяного блаженства, отчего она утюжила себя по вискам, до клыков когтя щёки, – да так мяукнула, когда я, её посредник с роком и Корой, врезался ей в зад, что молодая гарпия сызнова показала свою застенчиво-докучливую мордочку и стала потирать мохнатые лапки от злорадства. Чаша заорала, словно зубы Аресова стража вдруг проросли здесь, заколосились среди этих листовенниц и сосен в плющевых плащах до верхушек, да тотчас принялись за избрание титанического эфора, – а шаткая стена людоподобных фантомов неловко придвинулась к моей сочной оргии, бия, будто сотня арктид, тимпанами. Но я уже вплетался в её копчик, оббивал хрящик за хрящиком, позвонок за позвонком, до самого атланта и, ввинчивая кровавый крестец в грунт, скоро шнуровал его моими корнями, продолжая прочно впиваться в грунт, – одновременно заражая океанскими образами женских пращуров пляшущую шеренгу давно привыкших к чудесам теней моих апостолов, запросто выпрастывающих, среди облачных кишок рыбащеров, свои лунарные сигмы изошрённого булата.



Только сейчас, предугадав и исход, и начало истинного бытия, рыжая вытянула из-под косм запёкшиеся губы, зашевелила ими нежно-нежно, будто репетируя псалом первосонья: так лошадь (это выжившее исчадие Золотого Века, динозавровой поры!), мудро склоняясь к ладошке тщедушного человеческого зверёныша, снимает с неё клеверную фасцию, – до последнего стебелька, инкрустированного пугливым гиалитом, – благодушно обдавая всю эту стойкую дарящую добродетель увесистым облаком утробного пара, словно крестя её в утлой воздушной купели. «Тон-тон...» – призывно пропела она, плавным лепетом задавая ритм бору в ответ грянувшему «Аба-тоннн!», и, как это всегда случается ночью жертвоприношения, от свежеспеленных сосен потянуло пряным ветром, – обычно слепополуденным, но сейчас выжимаемым планетой, расставляющей свои самые хитрые обонятельные капканы в разгар волчьего часа.

Приторный порыв окрепнул, метнув вилохвоста в рот моей жертвы, со свирепым свирестом взьерошил покорно простонавшие кривоногие ели, согбенные выше, у крутояра, взорвал конгломератовые пласты, разогнал тучи, явив трёхкратный додекаэдр цефеиды, вздувавшийся и сокращавшийся, вращаясь согласно своей егозливой природе. И вот она снова мреет, как способна обмирать лишь освещённая ленивица Селена – лазутчица государя Гелиоса.

Мне, самому пытливогоглазому созданию этой горы, предстоит почать тело этой пьяной от пытки нимфы Ох-мелии! И нет совершеннейшего потрошителя, чем я, пронзающий тьму очами, покамест светлыми – зелен виноград! А расчленять мне приходилось немало: от аллозавра до инопланетных проходимцев, шестипалых шалопаев, этих невежд о двух головах с чувственной румяной шкуркой вокруг туловища, – неизведанных лишь до первого рывка, до начального разнимания сустава, до лекарско-боевого гулко-компактного выдоха! Ибо всё познаётся убийством! Негра ли, дауна ли, чернобудыльных ли баранов, а то и их чабана, сусеверного старика Полифема, почившего в моих объятиях оголтело бредя Галатеей, – ну, кто способен пышнее моего разрыхлить душу страдальца, выпестовать её под ночным солнцем и только потом приняться за жатву?!

Я оплёл её бедро и с гиком сиганул, кровью кропя ягель, в людской, охваченный дроманией ералаш, опрометью хлынувший на уже бредово жаждущую разъятия женщину. А каждый отдираемый её шмат продолжал настырно пульсировать моим исконным дифирамбом, полонявшим также и жрецов долин: дивно скорбное мычание с оглушительнейшим набатом было отзывом на человеческое заклятие. Дотоле оставаясь различим толпе, приветствовавшей меня зычными визгами испуга, валясь на землю, будто ища с ней кощунственного совокупления (вот только не поклянусь миром да Богом, утверждая, каким меня видели их глаза!), я скользил меж каннибалами, по мере насыщения вытеснявшими влажную вибрацию своих душ, обрывая наш чувственный контакт. Ибо дух есть пустой желудок, ждущий жертвы медовой! Хвойная махина догорала. И в её отблесках иной антропофаг, – этот скоро костеневший яремник повседневного труда, – по-житейски подсаживался на корточках в камыш, измаранными трапезой кистями разбивая белёсые звенья намедни высеченной из скалы струи. Я вскарабкался на бурую булыгу и, распластавшись на ней, весь в россыпи кровавых капель, погрузился во влажное предрассветное забытьё.

Очнулся от разьедающего чувства, называемого вами, лучшими из образумленных людей, «валом нот и тонов неопределённой расы». Таких «полукровок» я представляю цезурой цензуры сердобольнейших посредников самодержцев Галактики – демонами цельными, чистокровными, выведенными из любвеобильнейших Всевышних и легконогейших смердов жребия. Их искусство преподаю я смехом да смертью, пестуя неистребимо весёлый телесный тайфун грядущего сверхчеловека! Фантомы лепидоптеровых фалангитов стройным напором взбирались тропинками сквозь хвойно-людские тиазы, распадающиеся под сенью прозрачно-чешуйных крыл на сосенные, еловые, человеческие куски, теряющие осадок идеальности, – не мешкая, упрямо восстанавливаемые моими очами и тотчас передаваемые на поруки последующему поколению двуногих млекопитающих, мгновенно одобренному свыше:

хребет супротивного приозёрного холма внезапно запылал, приоткрывши плавуче-округлую сущность всего колоссального кратера, а поверх побледневшей воды с флюсами да гусиной кожей, щекоча её пуше прежнего, прокатился, будто чугунный шар, первый рывок окатоличенного благовеста, нимало не смущавшегося двойным плагиатом, – наоборот, горделиво дрожащего всей залихватско-полоумной мощью язычества, запертой в клеть червонного византийского обряда, «литургией усталого Златоуста»! И вот привлечённое умопомрачительным набатом светило показало свою каплеподобную макушку, вытянуло порфиновые руки, переплетя их с моими, запустило пурпурные персты мне в истерзанную бороду, полную осколков резцов девы, женских дёсенных ломтиков, ломких серповидных игл, да досрочно – как и всё в этот год, – окрылившихся муравьёв. Ещё пропитанные ночным чадом лучи обрушивались на хвойную грядку, стекали по ветвям, словно заря была ливнем, – а окроплённые восходом, отлипающие от древесных остовов двуногие обретали ту относительную завершённость, с коей за пару срамных тысячелетий их смирило единобожие.

Разбуженная стая сорок с лавандовыми животами взмыла, дружно шурша и наперебой обнажая выхоленные, почти платиновые подмышки, усердно перевирала мне измлада знакомое брекекекс-квак-квак Преисподней, только изъясняясь чётче, жёстче, ядовитее – философичнее! – шутя заглушая ненасытные колокола, а затем и окончательно расправившись с карильоном. Каждый из недавних жертвователей быстро превращался в членораздельно мыслящего индивидуума, сносно выдрессированного держаться вертикально, и, шутившись, туповато оглядывал свой ночной подвиг. А тут же, рядом с ними, захваченный врасплох образом моей прошлой жизни (о которой пока не время болтать!), я примечал навозные сугробы, мерно расплетавшие ввысь нескончаемое, полупрозрачное полотно. Людишки как обычно сразу произвольно разбивались по племенно-классовому принципу: мулаты, скучившись, рыли верхними конечностями яму, – и земля незаметно вытесняла из-под их ногтей-калек цвета засохшего гадючьего яда сгустки крови; подёнщики с Южного Буга, воровато сварливаясь, делили кружевную одежку, и ни один не мог одолеть прочих в кривобокие кости, слепленные из крошащегося тюремного мякиша, а потому оставляющие на доске нардов сероватые горе-горельефы – хулу Матери-Земле; крестьяне окрестных хуторов, руководимые рудокудрым впалогрудым рурским архитектором с русыми ионическими буклями, собирали разорванное женское тело и (невзирая на относительную стройность выводимого алеманнского хороводного напева), по инерции сочась ночной вседозволенностью омофагии, исхитрялись скусывать самые лакомые кусочки, – складывая объедки шестиугольной призмой, несомненно аккуратной по их суждению, но в которой я распознавал тьму изъянов, каждый ценою в ночь пытки.

А ведь предупреждали её давеча посвящённые: «Ну не влачи ты кровь да прах свои на гору, в Альпы! К нам!» Однако как обильна ересью дева! И тем паче, сколь разнородна женская скверна! – с каждой оргазменной спазмочкой преумножается чавкающее чванство её, влагилице свято-татно посягает на планетное первенство, блудливо диффамирует мир. Сцапать самку за спесь-похотник (феноменальнее иного фаллоса!), опутав её теневыми тенетами, полонить в тесный круг заклателей – кромешников зело злой Земелы! Тут-то, в крепко запертом раю убийц, поджидаю самку я. И каждый получает своё!

Солнце, польщённое почётным приёмом, уже целиком выставляло на обозрение свой алый диск, точно Молох, воцарившись над грандиозной воронкой, продавленной пятой бегущего для потехи Господа. Видимый редкому землянину двойник светила уносился выше – к сверкающей всеми сегментами гусенице с широченными жвалами, удирающей от квадриги Гелиоса среди бархатистых барханов небес, на север. А за солнечной тачанкой тянулся наспех пропитанный ультрамарином кильватер, пропадавший там, где императорский церулеум достигал высшей концентрации.

Заплакал навзрыд левобережный дракон, многоочитый, поочерёдно прыскавая ржавчиной из каждого глаза, зазмеился (меж седых пахотных проплешин с безмятежными охряными

манипулами винограда, переходившими в надгробья гемютного, но с гиперборейскими вспышками, погоста, – а за могилами стена – шпалеры шиповника), щеголяя обновой – ослепительной кольчугой – помешкал, облегчился кучкой кала (разбежавшегося на задних лапках в стороны) да сгинул средь тисов и серебристых пихт, также затопленных лучезарным паводком, откуда вынырнул ястреб, взмыл, – точно вычертил радугу! – и, сирой трелью взбудоражив мою деревянную ятребу, пошёл крестить воздух над обоюдоострыми маковками Швица, всеми в снегах, окрещённых кратким родом людским «вечными». Использованный человеческий материал! Ни у кого из них, застигнутых кликом крылатого хищника, слёзный цунами не захлестнул ланит, а ведь взрыв рыданий – знак молниеносного становления творца. Только я да мой спутник странный, ранее дымчато державшийся одесную, радостно встречали невинный любвеобильный взор Солнца, раскрывали ему объятия, славили светило.

Подслеповатость засумереченной людской породы, – сколь чревата она самоуничтожением! А чандалье сжатие человеческих челюстей, прерывающее дыхание этих надменных тварей, делает их неспособными извить собственную близорукость, слёзным рёвом кровавой скорби одарив Землю! – всё ещё сырую, алкающую зодческой длани мастера, его зоркоокой страсти. Например, ну кто из вас, разумных млекопитающих, приметил мои передвижения на месте ночного преступления? – а ведь я проскользнул почти вплотную к женскому позвоночнику в прогемоглобиненной бахrome, диковинно пустившему корни, и росяные, и срединные, преобразившемся в штамп, уже почкующийся, уже обвивший усиками хвойную перекладину да обросший целым опахалом пятиконечных листьев – слепками единого континента допотопной планеты. Да! Убивая, расточаю я жизнь – в этом мой искус, моё замысловатое искусство! Сейчас только эта колдовски народившаяся лиана, подобно мне, тянулась ввысь, к чуемому ею средоточию пламенной мощи – мужиковато славяноскулому благодушному спруту энгадинских маляров, – ибо есть много солнц! А неприбранная женская голова, львиногривая как Химера, доминирующего оттенка фасосского нектара, отброшенная вакхическим пенделем старого жреца, застряла меж митророгой вершиной муравейника, чьи алчные обитатели давно выстроились вереницей и организованно лакомились склерой выпавшего ока с зелёной радужкой, пока весь перемазанный в крови эфиоп, талантливо паясничая, прековарно не прервал трудолюбивую тризну.

Курающие куреты из Кура уже тащили пегие бёдра угодивших под горячую руку и истово разорванных коров, а за ними, выбивая бойкую дробь, будто выправляя бронзовый обод гоплону киянкой, теряя гвозди-инвалиды с золотыми, сразу схватываемыми (на счастье!) подковами, послушно поспешал лохматый пони в коричневых яблоках, с фиолетовой чёлкой и сеткой, скрывающей лицо до самых отчаянно прядущих ушей, когда, останавливаясь, он миролюбивыми губами раздирал трепетавшую кумачовыми заплатами паутину, шаря в цветах Сциллы. Уникальный случай! – травоядный, переживший наше разгульное ночевье!

«Пора! – грянуло со стороны. – Давно пора!» – и моя давешняя дружина, растранившая смуглую святость содеянного беззакония, разбившись попарно, потянулась прочь. По дороге они перекидывались словами, с Божьим гласом не связанные ни единой пуповиной. Мясные обрубки! А к полудню, когда после освежительной грозы баснословный семицветный спектр изогнулся над озером в борцовский мост, – по которому бесшабашно катила кибитка, битком набитая гогочущими привидениями кабиров, – уже не нашлось бы существа (кроме, разве что, всё чующих пяточных корней лозы), сумевшего подглядеть мои приторно-янтарные слёзы восторга – первый жом года, издревле свершаемый в одиночку.

\* \* \*

Ну, кто я таков? Я, толмачествующий меж поджилками планеты, просеребрёнными древними эманациями Господа, да вашими грубыми перепонками – так, что ладный невод

словов, набрасываемый мною на ваши души, вызывает у низших из вас страстишку прервать убийством мой полузапретный перевод с Божьего на человеческий! Кто я, басмачествующий за счёт людских последышей? – тех, кому вовсе незачем бороздить время: «мясными пузырями» прозвал я подобные этносы – лишь ткнёшь, – и лопнет волдырь народов, и провиснет на запястье премудрой матери-вакханки иссохшая плева полисов, и стремглав полетит к нам, чертям, ахнувший этнарх, и сотрётся воспоминание о ветхой расе-обузе. Так, замкнув цикл, с неизживной ужимкой Баубо, бабёнка Земля, балагурия, подмывает свою промежность в кровавых разводах. И неожиданно, вытанцовывая по тотчас прорастающим корнями трупам, – попирая человечесью шелуху! – из заповедной девичьей своего тайного поместья заявляется Он, Господь, увлекает менад, демонски набросавших абрис юбриса, которому предстоит стать оскоминой космоса. Здесь вдруг обрывается очередная спираль эволюции моего деревянного тела, запальчиво подставляемого струям познания, будто апостольский торс седока-самодержца – предательскому дроту. И я ускоренно начинаю обновлённое существование!

Восхититесь первой ароматной драмой моей жизни: сидя на раскалённых коленях Господа, я прижимаюсь к ним своими шерстяными ягодицами и, преисполненный упоением, разглядываю конусовидную впадину посреди изжелта-матовой наковальни, под которой шуруют колдовские мышцы-удавы: «Пуп» – пускаю я самокатящимся колесом слово нашего единого наречия, прозванного «Хохот мира» и зачатого одновременно с ним. В ответ на меня изливается смех, порождающий свежие пятна обонятельной палитры, вобравшей и Бога, и меня, причём я очутился в жасминовом сгустке: «Амрита» – тотчас падает навзничь, прямо в накрепнённую криницу моих наспех сочленённых ладошек новое название, и, схватив его, я вздымаю моё подношение к огневласому, желтоглазому как лев, неуёмно скалящемуся лику, делясь с ним и без остатка отдаваясь ему, неустанно высекающему мои черты, – покамест упорный речитатив волн (а каждая из них была отдельным неповторимым живым существом) взбивает утёсы наспех, но верно окрещённых пляжных лакомств. Вкусовой вал вспенивает воображение – бесконечную водную гладь с выпученным палящим оком. Мой испод, порочно зазвев, взмывает на её горьковатом буруне, и, впервые всем желудком весело прочувствовав холодок преступления, я герметично прижимаюсь ушной раковиной к жарчайшему солнечному сплетению: «Гум... арьяка», – бездумно шелестят мои губы. Тут, будто угождая моему молящему шёпоту, мой торс кольцеобразно стискивают. Больно до смертного ужаса! Покуда из меня не пробивается пряная селадоновая струя, – я теку! – становясь очевидцем выжимания себя самого – словно округлая ипостась Спаса выплавляет из моих суставов воск, смешивает с козьим молоком в дубовой лохани, откуда валит пар, утягивающий наконец меня среди плотного облака улетучившихся рыданий счастья, к радостно изумлённой лазури. Так я пережил свою первую страду, разом затопившую меня куда более древним воспоминанием: точно я, облекаясь плотью, охватываемой молниеносным спазмом, проникаю земную толщу, вверх по скважине, вдоль рёбер Эреба, со скоростью невероятной (нет! нет! трижды нет! верю!), а в мою, обрастающую мускулами, кожей да шерстью спину дико вперила своё золотое око планета, – и розовеющими ягодицами вбираю я её ядрёно-свирепую мудрость, ненавистницу того, что нынче зовётся «смыслом». Рывок! Ах, это пламя взаимопенетрации! Ах, этот рычаг Галактики, уже развесёлой, вполпьяна вдруг накачивающей тебя ярым даром! Ах, братские вибрации гения, столь схожие с отзвуком стонуше-клювастого курлыкканья стерхов, стаяй вышибающих плавко-опаловый клин горного горизонта!

Затем наступает мрак, смачный, всепоглощающий, сверхжизненный. Это тёмное Провидение, чаю, и породило меня, влюбчиво-мстительного, парнокопытного, с жёстким мехом до бёдер, переходящим в мельчающий оливковый пух, что сродни водорослям, внезапно обнажаемым отливом на орошённом полуднем валуне. Моё отчее исчадьё ночи, тряска огненной прядью, сызнова вырывало меня из забытья, усаживало на свои колени, обхватывало мои бёдра, – по самой волосяной меже, – его финиковидные фаланги вытягивались, пока крепко не околь-

повывали мне ноги, и я тихо хохотал, увлечённый призывным содроганием мира, да наслаждаясь обыденностью чуда, всплёскивал копытцами, – точно в пах мне вогнали властно изготавившийся к взрыву неизрыданный пузырь слёз.

Ведь что ни говори, а вечная память – не более чем протез из слоновой кости, заполняющий проём подросткового предплечья, ненароком простого доверчивым Богом-Отцом с семейством на пикнике у извращенца. Вот и мои воспоминания приобретают наконец цепкость, изворотливость, перехлёстывают через хребет самости, одним словом – плющевают – сплетаясь с Веселенной! С тех пор яд минувшего – всегдашнее зелье метаморфозы – стал утехой моей повседневности, оросил её, просочившись под эпидермис вечно возвращающихся снов. Жизнь взвихрила меня. Каждая её излучина насыщала мою начинку пуще изгибов Тигра – кормильца Таврских гор, – питала плодородие души, доверчиво канувшей на дно желудка. Так что всякая тайна, – переданная мне то Господним прикасанием, то удалой оплеухой шального копыта, а то и хмельным храпом дальнего предгибельного слёзного хохота или же внезапно вставшим на дыбы взором (туда, к допотопным кандалам, сковавшим нас с, как его прозвали отпрыски двуногих маловеров, Сатурном), – каменела проще листьев калины, невзначай увековечивших своё пальчатое жилкование.

Я был любимцем и сыном столь земного Всевышнего, одержавшего нашу шуструю шайку, – наиневесомейшей частицей, бултыхающейся в истошной покорности ему, почти безымянному, своим прозвищем единящему все возможные на планете звуки. Бог звался то ли Гиннарром, то ли Гаем; то ли Леем, то ли берёзорикум Березасавангом; а подчас и вовсе (не извернуться квёлому жалу вашей пасти! Слушай нас, первородных!) изливался из наших восхищённых глоток роскошным сплавом рыка да шипа: «Игтрграмрхлидшкьяльфар!» – по-нашему же, Всевидящий Игрок. И представал он пред нами не бескопытным подобием рогатых сорвиголов своей свиты, драпированных небридовым юбрисом, а удавом, винтовальной лаской свежей чешуи лишавшим бересты ствол, целыми днями источавший бледно-ледяную лимфу, да наконецником хвоста аргусовой раскраски погружавшимся сквозь корни дерева в мою Родину, – ко злу; или рюхающим барбароссой-трагелафом, распалённым буйной страстью в косящей рыси за газелями по гулкоэхому лугу (осенью накачанные дурманом яблоки подменяли экстракт козло-оленьей Афродиты); но самым блаженным было, конечно, его незримое присутствие, проедающее насквозь всё: от всепьянейшей ватаги, ведомой плешивым, вечно побрякивающим кряжистым сатиром в рысей шкуре (с сердоликовыми рельефными венами на тыльных сторонах ладоней и воспалённым лузгом под кустоватой, без единой седой зазубринки, бровью смутьяна), да четырёхкрылым осликом (аквамариновое брюхо, скорлупа – плод ночного разбоя, на выцветшем с годами нежном носу), впряжённым меж пары вороных ягуаров с бирюзовой поволокой очей (что за наслаждение запустить пальцы в их шерсть!), – до неукротимого парада рехнувшихся планет, к коим я воспарял в Божьих объятиях, чая разорваться там, средь дымки Гелиоса, однако исправно приземлявшись, неизменно непочатый Солнечной системой, сберегавшей, как оказалось, лакомство напоследок.

Наш поезд пересекал, диагонально её опоясывая, единоматериковую Землю (будущие океаны до поры обручеобразно грезили в мерцающей вышине), неумоимо влажно-дароносную, в два пёстрых, как любимая порода моих коров, мига слепополуденной дрёмы (первым канул, другим – всплыл, закачавшись) способную обнести нас изумрудным казематом, свитым из бамбука да лиан: Владыка распахивал, словно крылья ланит, очи. Рёв вырывался из его глотки, лужёным отголоском прокатываясь по Полярному Кругу, – куцеватый гиппарион взвивался на дыбы, и чрез его распальцовку удовлетворённое светило лоснилось будто меж кремлёвских зубцов (за такими станете вы прятаться, обороняясь от выродка в себе, терпя неизбежный крах). Господь же, внезапно шестирукий, вооружённый кинжалами, с точильным скрежетом проводил сизым клинком по своему языку, раз, второй, – нам на подставленные длани брызгали разбухшие красноватые, словно сияние усопших звёзд, капли ихора, – и все

мы, с гаком рванувшись в джунгли, прокладывали табору тропу. Ураганом нёсся я на стволы, с чутким бешенством тотчас выявляя, куда рубить. А иной яркий явор, презирая падшую падчерицу рассудка – ложь, – тряским призывом подманивал свою гибель, точно затевал себе уход позабавнее, наваянный моим Богом – этой шаровой шарадой, шестилезвенно-самозабвенно бушевавшей впереди (ибо всякая молния – загадка), высекая из поражаемых зарослей беспрестанно нарастающий рокот, под который даже сейчас, на совсем иной теперь, отяжелевшей Земле, так и разбирает прогорланить нечто разнузданное, берущее свои истоки из урчаще-червонного чрева прошлой планеты, – позже оказавшегося также и моей маткой. Стук по истуканам постепенно выплавлялся ударным однозвучием, вгрызавшимся в сатиrowы желудки, вдруг распухавшие от дифирамба. Однако наш божественный авангард реактивным коловратом продолжал буравить простенок плодовой планеты, всё менее и менее уловляемой раздираемыми сетями чувств.

Потом сгушалось слепопуденное пекло, наслаиваясь узорными пластинами полярной подцветки на посрамлённый тропический лес, и мы забывались мертвецким сном во всю насосную завёртку, как выражаются на любимом мною нынче языке. Разгорячённое баталией Солнце затопляло нашу победу вермилионовым колоритом, пока мы, очнувшись от липкой сиесты, изготовлялись к тризне по врагу на скале, из которой внезапно выстреливала велеречивая водная парабола, высекавшая последний бисер светила, насыщая им нас средь игр, смеха, всезасилия хохочущего Всевышнего, исчезавшего вдруг, не прекращая, однако, питать всё кочевье своим тугим гогом дагона. Но стоило Ему пропасть, как воздух испещрялся сонмом разнопёрых демонов, то здесь, то там, каждый на свой лад когтивших Гекату, – уплотняющуюся, озверело прораставшую в плодоносные слои арктической почвы. Самцы ибексов поднимались на задние копыта вокруг кедров, обречённо вздымавших нижние ветви, и, гулко стуча рогами о стволы, пожирали хвою, обгладывая уснею вместе с корой, – слаженностью своего ненасытного хоровода уподобляясь нашим пляскам. Ритмичное блеяние козерогов вдохновляло подпевать им сначала гортанным мычанием, затем и во весь голос. А вся нежить сосредоточенно готовилась к феерии ночного пиршества, принимая в себя четвертицу Верховного Кудесника, и лишь изредка отвлекаемая обжигающим вокальным залпом птеродактилей, уже тогда наречённых жар-птицами.

И-а-а-а-у-у-у-у! – проридрал потёмки вой. Мы знали, кто это глаголет нам, спугнув исполинскую, с полинялой оторочкой и павлиноглазыми крыльями, бабочку вглубь трущобы, подкрадывавшейся, как ей и положено треща, всё ближе к скале. Вдруг кимвальный вал окатывал округу – столь задиристо и разгульно, что весь наш скоп кидался вверх, вверх, вверх, обрывая бурьян, вцепляясь, если надо, в коряги зубами, оставляя на них фосфорицирующие констелляции – порой расщепляя дерево, – да сбрасывая копытами гранитные брызги на рога отстающих. Кремневые торцы, ещё хранившие дневную теплоту, иссекали наши скулы. Но собственная кровь глоталась восторженно, пьянила альпинистский порыв бегунов, а круговорот сока своего тела – жом с мгновенным испытанием! – воспринимался очередными чудесами, вроде бы невольно и вчуже перепавшими от демонских щедрот нашего Господа.

Ухающая сатирова орава протягивала скрюченные пальцы к проклянувшемуся – из нашего! нашего же хаоса! – Ковшу. А лилии, белее млечной мольбы Амалтеи, испаряли из корявых трёхязыких пастей конский дух, бывший куда едче запаха самки гиппариона (кабавшейся под ещё девственной промежностью, – вот проступит луна, и каюк плеве!), покладисто сипевшей благоуханным уютом своей утробы мне прямо в нежную завязь хвоста, вдруг предавшего нашу сатиrowу расу, пружинисто скрутившись, ответствуя трепетному импульсу, нахлынувшему со стороны – эху кабаньего хрюканья. И, несясь вверх, с обыденной бессознательностью прозорливца, запросто пронизающего войлок грядущего, я чуял, что зов вепря доставил именно Борей: так случалось ускорение – казалось бы чуждый отголосок жертвопри-

ношения Господней супруги заражал меня вирусом качественного видового скачка, порождённого неуёмными сокращениями планетной матки.

Чётко вымеренная физическая реакция завершалась, – и я претерпевал трансформацию. Всегда совершенствуясь как тип, всегда в забвении! Поэтому на гребне скалы, когда, казалось, ещё немного, и небесное пузо кесарски взрежется да затянет меня к лазоревой диафрагме, память обрывает свою нитевидную сущность: «Нефелл! Нефелл!!!» – только и проверещал я тогда, присовокупив надсадный визг к вибрации громадной абсентовой лямбды, покуда отчётливо вычеканенный клин наших воспаряющих тел (или это я медлил с полётом, или одно из моих бдительнейших очей застревало в трещине утёса, – оно и поныне там!) вспарывал брюхо мерцающей Медведицы. Лишь пару тысячелетий спустя до меня дошёл подлинный процесс пророческого графизма, – изначально экстатически-эфирного ваяния письменности! – покамест вы, людишки, вдосталь окосоумленные здравомыслием, не сноровились копировать ураномарание на камнях. В мой распахнутый рот пролилось горчичное причастие мрака и, сбросив пятнистую шкуру, – застыдившись перед тьмой обузы одежд! – я, кокнул костяным каблуком гранит, наконец расквитавшись с притяжением планеты.

Остался сладковатый слепок счастья глissады. Вы ль одни про милость Вашу не сказали ничего, Боже?! Просто подхватывали меня незримыми руками, и – не мозг! – бока мои пылали от благодати, точно их натёрли амритой. Наши объятия продолжались, пока солярные холстомеры не переваливали через полуденный хребет. Вспышка сознания прокалывала моё тельце с первым лучом, и я вскакивал навстречу Солнцу, рыдая от хохота, с ланитами, орошёнными адски огненной каплей, пролитой в сновидении, рассечённом светилом. Живот упоённо гудел зудом шершавого полёта средь звёздных дебрей. Разбитным яблом копыт я будил безучастных берегинь и, оросив их персидские перси своим семенем, устремлялся через шорох археоптериса в хрюкающие камышища, одновременно ласково вторя шипящему искусу древоящеров, в коем мне мерещилась мерцающая глоссолалия Господа моего.

Иногда же, спросонья, моё копыто несло гибель улитке, нажимом хрустким расплющивая беломатовую цитадель гелициды, уже почти схваченной голубоватой жужелицей. И, словно скошенный Словом Божьим, бухался я на пульсирующие прихотливой крупнозернистой яростью колени, целовывая поочерёдно скорлупки погибшей да отплёвываясь самородками, прилипшими к её подошве, шибко шепча, захлёбываясь покаянием, мольбу о примирении (тут щербатое ощущение контакта камышовой чешуи настигало меня!), даруемом сводней-планетой, по примеру царски вплавляющегося в прочервоненную синь Кольца Колец, посредничавшего меж других, куда круче цепляющихся за мой желудок наваждений, целокупно-стью коих являлся Мой Босоногий Поверенный. И вновь воплотившись в привычного быкорогого молодца, встречал меня Бог у кортежа, слизнувши с моей губы осколок раковины – о, это приближение к моему лицу улитки Господнего рта! А возвратившись в мой вечно подвижный дом, уподоблялся я нечаянно убиенному моллюску: выкуп оплачивался сполна! Теперь можно было рыком подбадривать впрягаемых сфинксов с теснёнными золотом лбами, урчавших мне спросонья в ответ, бия хвостами по моим икрам да ревниво оспаривая упряжное первенство у гиппариона – незабвенной сверхженщины, также одеваемой взбухшими хлопьями страсти согласно заведённому Эросом ритуалу лобзаний: в очи, в левую вымазанную амритой щёку, в средний пальчик десницы... «Добре!» – Боже со своего треножника испускал клич скитаний. Один из сатиров овладевал рогом и трубил ортийский сигнал – трель артемидовой стрелы! Источавшая свой первый яд наяда (ещё в ту пору наострился я распознавать будни влагиалища по форме рта самочки: когда губные вершки выдают секреты губных корешков!) настигала тиаз, ноготком мизинца выковыривая прилипший изнутри к премоляру и десне (блекло-розовой, как полуденная плоть смариды, с рассветной зарёй выбросившейся на отмель) сгусток амриты, да сквозь бойницу давеча выбитого резца (перестарались!) плюясь в тотчас изошряющуюся от контакта с нимфической слюной осоку, – и, опробывая инакомерное оральное про-

странство, свистом воспроизводя дифирамб празднотатания по приноровившейся к нам планете: как распирало мышечную фасцию её вымазанного углём виска с солнечной червоточиной на самом пике пучка! А это воспоминание об отдавшей гимен – не нам! – Богу Бега! – морской нимфе, с ещё живой пяденицей, вялыми крылами присохшей к киноварному разводу на её бледно-розовом бедре, и доньне сводит мои корневые волосы!

Колеса затягивали шёпотом мотив, подслушанный ими на Южном Полюсе у грибного дождя (вкрадчивой пальпацией пляжных пожухлых листьев раззадоривавшего пресную невинность почивающей глади океана, тонувшего в густопегом тумане, – инда наш брат, алчный до алычи сатир, сливался со сливовым стволом), да переиначенный на неизбытный, окованный золотыми пластинами лад. И день заботливо вторил своему искромсанному, переваренному нами предтече, чей оторванный за полночь жмых вперемешку с душисто издыхающим валежником рассеяли мы, раздробивши ей венечный шов, по сутулой скале-а-крокефалу.

Здесь я медленно подхожу к тайне. Итак, что за чудное создание надиктовывает для вас эти строки сумасбродные, полустихотворные? – сродни волшебству, когда из земли победоносно (сирень снискав Никейю!) ровнейшими рядами вырастает лоза, выжимает время, словно сок, из собственных гроздей, да тормоша шафранный фарш глины, облекается плющевыми цветолатами талому снегу наперекор, и вот – столбенеет в предбитвенном восторге. Чреватое вечностью перемирие! Как из возлюбленного сына Бога (лианами гладившего меня, едва другой Всевышний вперивал в пляшущих вакхантов своё не знающее зависти око) стал я бесмертным сподвижником его, неуязвимым квазитейвазом, легко пробегающим по сорок фарсахов в час и снова запросто запускающим корни в целину? Знайте, ведь я всегда предчуял свою участь, например, когда очухавшись от очередного спирального ускорения, замирал я на громыхающей митральным клапаном прогалине, и вместо обыкновенной бронзовой браги из моего рдеющего краника вырывалась странная струйка, под чьим благоуханием тотчас расцветали шикарные репейные уголья да медуницы принимались вить в них свои заветные узоры. А после, когда, беспечно запечатлев чудотворство в закромах Мнемозины, я пританцовывал вверх по косягору, щекотавшему мне голени вспотевшим словно от смятения муникеонским дёрном, – то, внезапно сгибаясь под сладостной глыбой рыдания, я прижимал к земле разгорячённые ладони да, втянувши грибной дух с железистым привкусом русел высохших родников (ведь холм способен заточить запах, как узника!), вкрадчиво целовал русо-салатовые травинки, всем животом судорожно впитывая подкожную теплоту планеты – словно там, подо мной, приковали нежно и шумно дышащую корову с важно кровоточащим, пока остывало, тавром. Вот тогда-то я и упивался грёзами грядущего, точно мойра, спяну позабывши службу, на миг разворачивала и, спохватившись, тотчас скатывала неверными пальцами свою рунами исколотую бересту. А я глядел, взором урывая чудотворные строки: багряные о Солнце, лазурные об океане, скопище зелёных строф (тут судьба насилу расправлялась с диссонансом) о неких ухарски прыгающих кустах.

Помню, чем плотнее я приближался к моей гибели, тем совершеннее становилась поступь моего бега, – словно я холстомерил саван наипридирчивейшей швее-гигантше, – тем жарче бурлило моё дыхание, тем глубже бил мой хищнический взор, не брезговавший и мелкой дичью, молниеносно жертвуя её на прокорм хохоту, делавшемуся всё безудержнее, покуда Земля покорялась мне. Планета будто ластилась к фавну мурлыкающей пантерой, до поры прячущей когти, подманивая кортеж к месту моего убийства (предпочитая тропы, что тянутся вослед светилу в ночь перед солнцестоянием), а её колорит пропитывался зеленью смачной, – «вердопомовой», как говаривали тысячи лихолетий спустя анатолийские га латы.

А если в розовой кисее заборейского лукоморья кто-то из нас забывался бездыханной спячкой, то мы, счастливые соучастием очередного божественного беснования («Господней сластью» прозвали мы такие праздники), бережно поднимали труп и цокающей рысцой, – каждый новый шаг высекал из нас добавочную порцию гибчайшего бесценного смеха, коим во



всякий час были переполнены мы, – спускали тело к волнам, взбивавшим клинописью испарянный курган амриты, чей застывший коричневый остов казался отполированным, беспрестанно оплавляясь слюдяными слезами, сразу отвердевавшими янтарным панцирем.

Гвалт совокупающихся чаек покрывал запыхавшийся прибой. Черноголовые самцы, боязливо вертя оранжевыми клювами, трепетали крыльями в такт нашему бегу, исподволь переходя на хоровой хохот, приветствовали и нас, и своё чаемое потомство. А ялик уже поджидал труп, точно невзначай причалив к амритовой пристани. И пока мы, копытами увязая в благовонном месиве, укладывали на морщинистую обшивку кормы быстро костеневшего сатира, увенчанного короной павлиньих перьев (призом за потустороннюю победу!), воздавая ему последнее братнее лобзание, – как бы заглатывая с известнякового холода губ невысмеянные осколки жизни, – некто, невидимка, упруго заполнявший лодку, даже переплёскивавшийся через борт в злато-чешуйное море, уже отталкивался от берега, и чёлн незримой, но оттого не менее властной ужимкой согнав чудовищного шмеля, качаясь, плавно, как в человеческом сне, заскользил поперёк прошитого солярными жгутами полотна. Бесполезные уключины неожиданно вдохновлялись певучими демонами, полонявшими их своим озорством: это покойник прощался с нами свирельным стоном металла о дерево, от которого неведомой медвяной истомой сводило грудь, а мы опрометью бросались в пляску, сурьмлённую, размеренную, круговую, высекая из платиновой пены рыжий шквал брызг, ожерельями осыпавших шерсть моих пястей. Такт танца, казалось, бил не из наших тел, но впрыскивался в копыта из ила, нет, бери глубже – из недр ойкумены, а потому нередко мы застывали все разом, скованные наркотическим столбняком, разлучённые с незримым, ритмотворным током, неукротимо силясь нащупать контакт, вот обнаруживая струю, опять бросаясь в танец. И, наверное обуюанный пульсом нашего похоронного хоровода, ялик посередине залива внезапно выпускал вьющийся ванильно-дымный шнур, – со скрипом ввинчивавшийся в небо, – вдруг извергал огонь, будто раздвоенные языки моря, сплетаясь, слизывали его. И вот бухта – пуста. Только полупрозрачная сиреневая вуаль змеилась прочь, пока, прожженная вороненым солнцем, не усваивалась бесстрастной голубизной.

Подчас же бездвижие сковывало одного из нас посередине обширного материка (а Господь наделил Землю лишь сей пентаграммой суши!), пока мы, оседлав скальный дуб, отчаянно жестикулирующий в массивной сини сенильных туч, нарубали себе его руки на пробковые коньки. Смажешь их, бывало, потом, вернувшись к океану, амритой, привяжешь к копытам да скользишь по воде средь верещащей козлорогой стайки, увёртываясь от камнеобразного тенепада чаек, дельфиновых спин, мелкокольчужных, точно оплавленных хвостов неяд, тянущих из пены проворные пальцы к твоему восставшему члену, – который тот человеческий мошенник поздней эпохи (стащивший нашу тайну для своих тяжеловесных выкрутасов и захромавший однажды над гладью галилейского озера) прозвал «срамом». Ха! Так вот, стоило уложить рогатый труп на почву пожирнее, как древесные корни тотчас оплетали его, планета приникала к сатиру соцветиями полыни, обвивала его лианами погибче, пока непомерные транжиры-алкионы, нарывавшие пальмовых листьев себе на новоселье, насыпали над ним светло-шуршащий курган. Постепенно всю лужайку полоняло урчание, сначала едва различимое, затем напропалую государившее по лесу, внезапно принимавшемуся таинственно лосниться стволами. Зелёный холмик трясся и неожиданно распадался на части. А там – ничего! Земля всасывала тело без остатка! – туда, вглубь, к своему пульсирующему злу. Наш вопль приветствовал успение сатира. И снова – ступор. Даже дуб застывал, растопырив суриковые от крови коряги, не сумев вовремя подобрать корни. До новой похоронной оказии!

Помню, стуча копытом о копыто, возлежал я на животе, дивясь недвижимому кортежному колесу, – подмечая одновременно розовую сыроежную шляпку, обсыпанную крыльями раннего муравьиного лёта (самых мирмидонян сожрали сбившие их остромордые лунные медвежата). Прогнивший жёлудь гулко стучался оземь, плюска отскакивала, и я насыщался, обо-

гащаясь им, пружинистым ужасом окопавшейся в плоде нематоды: испарина деймоса – клей, соединяющий драгоценнейшую крупицу космоса, мгновение вечного возвращения. Вой Бога. Барсов прыжок, различимый лишь по перемещению вкрадчивого когтистого жара. И колесо, – само! – снималось с места. Каким чудно ноющим страхом переполнял меня рывок этого самокатящегося диска в невинных виньетках секвойных щепок и игл, спрессованных смесью смолы и Гелиоса, – всё моё деревянное нутро скрепит нынче!

Помню, содрогаясь от смеха, обтанцовывали мы (так теперешний садовник окучивает) лобастых быков, разъяря их до хрипа, плескавшегося в сусляной прелюдии убийства, когда белки глаз наливаются пурпуром да всё ниже спускаются от скул растущие рога: будто Астарта стартовала обряд гостеприимства. Здорово полыхала шкура зверя! – Солнце, напавивши уловатые рукавицы (шаловливой щекоткой зудя в Сатаровых зубах), выжигало ему на боку причудливое клеймо, пуще распаяя быка, чеканящего на чавкающей глине лики златоглавов, – и сколь отраден становился кордак со смертью под прицелом рогов! В этот самый момент любимый чёрт гоготал в мою взъерошенную душу – Ха! – Ха! – Ха! – Ха! – Ха! – только тогда я чувал, где она копошится, – в желудке! – и как рая жуть заставляет трястись её фалдовые стенки, раскрытые, словно цветущая лилия, ввысь. И каждый из нас жаждал заплутать в огненнодышащей лаве безумия – залоге бесконечных похождений с этим буйным Божеством, на этой Земле, под этим искромётным обручем... видевшимся мне в последний раз, – и я сразу стал уверен, что никогда более не погляжу на лимб планеты! И впрямь! Никто из нас не унижался до преднамеренности: предчувствие маячило, взрывалось и исполнялось молниеносно, точно всякое событие являлось намертво спаянной троицей колец. Усомниться, прервать процесс претворения чуда казалось ересью по отношению к вездесущему белокурому Провидению, куролесившему в нас негой непрестанного упования.

Наконец я перед ним, в стайке Бромиевых парубков, нахлёстывающих себя по бёдрам вороными кисточками хвостов, пока оба пальца наших ног, крытые роговым башмаком, размежёвывают ярды сатировой отрады, – ведь ярость, ворсистой фасцией лучей вышибаемая недрами мозга, отмеряется лишь землёй! А он, блажной тур, не знавший ярма, вдребезги растоптав хрупкую когорту негроруких берёз, уже вперил в меня, с фырчащим храпом, голуботвёрдой плёнкой подёрнутые глаза, – причём в правом оке дрожала оранжевая искра, изредка налезая на свою алую карликовую спутницу. Даже кровеносные завой его оттопыренных ушей корибантила смертоносная ритмика. И жёлтые волосы ноздрей колыхались, словно прискальные водоросли, распластываемые штормом. Заворожённый пластикой своего убийцы, я впервые постигал грёзы, наяву затягиваемый сновидением, подчиняясь его лютотому посланцу, всё ближе подступавшему, заслоняя мне Солнце. Бык, будто перехватив танцевальную инициативу, перекачивал в себя взрывчатый жар моего живота – рычаг Сатаровых плясок, – и теперь, урча, с набрякшим членом наваливался на меня, обезволенного, навязывая своё партнёрство. И я уже вторил каждому шагу колосса, двигаясь на его лад, заражаясь всезасильным боем его кровотока. Помню лишь чубатого ибиса с ладной заплатой берёзового листа на кончике длинного клюва. Птица шествовала задумчиво, важно притормаживая и снова трогаясь в путь (словно сочиняла преизвилистый дискурс, – настигает меня осовремененное знание!), становясь частью бдения, обузданного будущим душегубством.

Именно в этот момент я выдрал свою волю из трясины соляных бликов, утягивавших меня вглубь, к подлой рациональности, уже оголявшей испокон нашего века оголодалый индиговый зев, и завопил в громадину морды, прямо в её покатую переносицу. Звонкая голосовая струя прервала звериный напор. Молниеносно я метнулся на спину быку, поддал ему копытами под микитки, промежностью прижавшись к горячему хребту: «Нно-о-о-о-онн!» Прыснули врассыпную сатиры, – даже тот, впервые замеченный мной, прятнул, гремя о гравий конскими наростами на ступнях, с пути моего палача, захрустевшего, ревя и разбрызгивая пасоку, которую я, гогоча во всю глотку, растирал по скулам.

Как запросто предсмертный воздух раздражает гортань, будоражит душу – в раж вгоняет желудок! Сколь изворотисто зрение, самовластно бороздящее планету, предупредительно открывающую свои наилакомейшие ломти! Будто бешеная стремнина этолийской реки, приняв быкорогую форму, уносит меня. Вот давеча расцелованный в несправедливо исхлѣстанную Пановой плетью сурну пожилой гиппарион-горбунок приподнял лапку – да так и застыл, поигрывая левым пальцем, выпуклыми очами оглядывая казнь сатира быком, заскучал, перевёл взор на взаимно и прочно притороченных Эротом эребий, с чернушек-нимфалид – к запертому радугой златокрылому кречету, речитативом бередящему округу. Где, в каком бредовом будущем я уже встречал такого пернатого хищника, победным криком возвещавшего моё превращение?.. Вот злоглазая цикада заиклилась, реквиемом силясь угодить в такт бычачьей чечётки, переняла румянность прозарниченных туч, затаившись в пазухах офигевшей гифены, а к ней, будто нехотя, скачками подбирался крапчатобрюхий дрозд, – и его прыжки также метили темп погони вслед моей смерти, – миглом вибрация пальмовых щупалец пронизывала планетную кору, упреждая пару Парок, учётиц седьмого круга земной мантии, о моём целеустремлённом приближении, перешедшем в мычащую иноходь. Вот Гелиосом облаканная до игреневости тигрица нашего кортежа заспешила, хохоча, с доносом к Владыке, пославши прощальный баритоновый рык взбрыкнувшемуся быку, завертевшему мордой, отсекая сочные дубовые ветви, стегавшие меня по губам, летевшие на грудь, застревавшие в паху, – набивая промежность всадника прошлогодними желудями. Я развенчал себя, смахнув с рожек прочно сошедшийся пазл липких листьев, и, испустив вой «Эвоэ!», кубарем покатился по калейдоскопному склону, через гадючью кутерьму (успешную дважды ввинтиться мне в плечо), через молочный, с пористой амритовой пенкой ключ, через вересковый ковёр, клекотавший песней пчелиной страды – и стукнулся теменем о корягу. Чёрный тополь нахохлился, чопорно выжидая продолжения. А за мной неотступно следовал урчащий ловчий, загонявший меня, убаюкиваемого ядом, к точке, предназначенной для моего истребления с самого сотворения мира, когда Вазишт испепелил орущую от родов Тиону.

Небо с розоватой зеброобразной подштриховкой, малюемой Господом в приокеанских долинах, перевело на меня внимательный просветлённый взор; медуница оставила ракушечник, опустила мне на нос, преждевременно изготовляясь к опылению, и отдала мне своё жизненное жало; полный паточной паники, я развернул уши, прядая ими, зааркавил звуковую синестрепетную струю, вертикально сверлившую грунт, – означавшую мне путь. А в мягких катовых сапожках, стачанных случаем из бычьей слюны бешенства да извергом же взбитого божьего деликатеса, накатывал палач, разрывал мне печень с желудком раскалёнными рогами, и, визжа от облегчения, копытами прессовал хрустящую грудь. Дух тяжести, глухой на мой крик, навалился, борзо кромсая пустынные небеса, – рана Урана! – полоняя и пополняя меня далековатостью, – сиречь смешивая со смерторадостной обыденностью нечто новое.

\* \* \*

С какой нарастающей лёгкостью увлекает меня вниз яркий млечный тракт! Поначалу его брызги, будто сумасшедшей рукой артистки загодя выдавленные из раздавшейся груди роженицы, лишь игольно прокалывают мрак, после исподволь прожигают плотную тьму своим желточным естеством, пропадая в ней, словно слизанные сосунком, покуда затоптанный сатир забывает аромат берёзового сока вкупе с самим свойством распознавать запахи и вкусы. Впрочем, исчезновение мерцающего молозива мне не позабыть никогда, как если бы это я прыскал галактической каплей на губы урчащему младенцу-невидимке!

По мере нарастающего заманчивого свербѣжного крушения рубежей сатировой плоти сквозь рокошующие отголоски солнечного бурения планеты – хт-хт-хто-хтон-хт... – восставала властоёмкая яйцевидная бескорлупная мощь, имя которой Зло, под вуалью тугоплавких пла-

стов заправляющее всем во благо добродейной пустоты, жадной до наших молитв, – Зло, забирающее наземные, недавно столь ладно друг к дружке пригнанные, однако утратившие всякий смысл куски, и наконец втянувшее мои воркующие останки осточертевшей разумности. Да! Туда! Ниже! Ко злу! И вот магической магмой бурлящая матка приняла и впитала шматы моего мяса. Но вдруг, – упреждённая ябедой всеведущего Владыки, – пустилась переделывать меня, обжигая огненными быстринами Господа, ваяя существо миру ранее неизвестное, вдывая в него дух его прошлых странствий и тотчас милостиво исторгая из своего острога.

Вверх! Вверх! По проторенному туннелю. Вверх! Вот он! Я! Новоявленный! Обретший и память, и зачатки слуха, а с ними – хлябистое единозвучие солярного сверления, столь схожее с шаманским шамканьем суводных струй. Из-подобного влажного клёкота в невинном горле зарождается первое слово младенца: «Папа!» Возвращение! Греховное! Нелегальное! Пресыщенное злом! – сдобренным молекулами берёзового сока, вдруг забродившими хмелем: моей мздой за свободу. Сколь схожа дорога наружу с недавним погружением! Как дивна скорость, с которой я попираю принципы природы! А какими податливыми сжатиями пособляет мне подельница-планета, доводя нас обоих до вершины насильственного экстаза! И что за радость преступного проникновения!

Я вылетел из скважины пробкой, выбитой напором огненного фонтана, вмиг впитываемого перегноем, на который я и обрушился, – сразу следуя плясовому призыву, вознамерившись отдаться танцу, броситься в привычно распахнутые Божьи объятия, переносицей стукнуться в солнечное сплетение тёмного Господа моего, проыв верноподданическое «Я-а-а-у-у-у-у-у!»... Где мой рот?!! О, тяжело пожатье духа обновлённой Ззззз... емли?!! – Земли!!! Этого некогда изнутри златом пышущего шара! Да, моей Земли, доселе наречённой «Лёжкой», теперь к эммелии не звавшей, ставшей водой, – и на эту влагу предстояло походить всем, кто отныне волил ратоборствовать, торжествовать, обладать!

Океаном, опреснённым надпланетной спиралью, гудели кроны неведомых деревьев. Я подскочил, задохнувшись жжёным папоротниковым пухом, простёр все руки (сколько же их?!...) к густо замешанному гулу ветвей и опять упал на гумус, – тот бы, прошлый, бодро изошёл зыбью, понятливой зеленью зазывая назад в радостную смерть. Сия же почва дышала насилию, с хрипотцой, всецело поглощённая собственным выживанием, ибо Земля иногда боится гибели, как любой из нас. Вместо бойкого удара копыт – мои ноги сплелись. И не было глаз, чтобы плакать от любви, взором ластиться к Возлюбленному Страннику моему!.. Где же он?! – обычно заполняющий меня без остатка... Но вот набежали, толкаясь и испаряя ароматные атомы Владыки, шурша чешуёй, иссекая мне ещё рыхлоранимую, впопыхах твердевшую корочку краями чего-то знакомого (учуял! листья... точно! листья плюща!), – да обжигая амритовым бальзамом там, где прежде вибрировал мой желудок. Повлекли, повлекли чрез молочно-кровавую капель, чрез увесистое шушуканье, просачивавшееся меж проказливых лобзаний. На юг!

Единственное, что оставалось неизменным, – это чёрные лучи (я насчитал их девять), поразному и откуда-то сбоку изливающиеся из вращающихся врат коловрата на меня, принявшие усваивать целебный свет беспокойного ночного солнца. А сквозь огненный шорох несло лёгкое дыхание четырёхпалого иноходца, втиравшего мне в опалённую спину, в сыздетства розоватый животик и нежное рыльце сатира снадобье двадцатью перстами, – ужас! Я ведь всё считал! Считал!! считал!!! Числами травя Сатарову душу! Вдруг по моему телу всюду стали иступлённо набухать десятки покамест непрорезавшихся очей. Словно я случайно понёс от подземного Господа, забеременев глазами! Но и, не видя, учуял я (будто пилигрим, издевавший каждую пядь суши своими ступнями, проткнул карту булавкой, играючи угодив в цель), что планета отыгнула меня с гастрофетовой меткостью: точнёхонько в гиперборейской чашобе, где бык растерзал сатира. Роскошное кольцо рыданий вздулось, забилося в каданс со старыми странствиями Господа, но, не отыскав слёзного желоба, отхлынуло, впрыснув восторг страсто-

терпия (перескочивший запретным *salto mortale* предельный кордон Танатоса) внутрь моих несчётных, молниеносно распухших пальцев. В ответ я услышал девичий хор: «Гой! Да-а-а...» – выдох облегчения, но ещё не клич победы. Однако, несмотря на своё разноголосое подтверждённое возвращение, никак не избавиться мне от первородной жути – бессилия перечсть собственные члены, по которым, с шипом и сжимаясь, потекли, подчас вскипая, жаркие струи, – если бы сметливые врачеватели квасом кропили кровавые раны прежнего сатира. И, младенчески доверившись выкристаллизовавшейся рысце, неуклонно держащей курс против выводившего вороную ноту «соль» Нота, я, убаюканный свирельным гулом тёмно-синих тонов, наконец-то утратил музыкально настроенное сознание.

Очнулся я в гроте. Как бывало, когда собственный бесячий храп вырывал меня из полуденных грёз и хотелось бежать в конопатое небо цвета, цвета... ну, ежели желаете привычных вам окрасок, хотя бы плодной поверхности плаценты людских самок. Гигантский конь ржал мне в глаз... «а-а-а-а-а-а-а! Они прорезались!!» С волоокого лика, – в чьи ресницы вцепился недоразвившийся полумесяц гусиного пера, – считал я летопись необратимой смены рас. И назойливо разъедал пещерные полупотёмки зуд незримой мухи. Шурк копыт... тут, подчинившись скользкой петле провидческого рефлекса, – а именно в поисках привычных перстов коннообразных (хотя уже уверенный в их исчезновении), – я поглядел на свою десницу..., её не найдя-а-а! Мой взор окунулся в хрустнувшие заросли... А они оказались мной! Слюдяную перегородку, скрывавшую от меня вертеп, прорвало, и голубой полдень просочился внутрь грота. Повторный приступ познавательной оторопи: вот, значит, как оно действует, утучнённое притяжение Земли, взнуздывает дух, подменяет рывок развития трусцой! Долгожданная нега наконец изрыданного угара: громогласный всхлип вослед дроби конского отступления, и сразу справа – новое судорожное ликование, трепет неведомых лоз, от которого обалдевало моё пока недостигнутое тело. Страх схватился с любопытством, сдавшись на милость врага, – а пока они суетливо мерились силами, смолистый дух моих слёз, где чудился букет из мирты, и фиалок, и лилий, и дотолё незнакомых запахов, полонил пещеру. А каждому заурядному обонятельному оттенку с разительной ясностью соответствовал бряцающий удар, – «тюмпанон!» зародилось вокруг жаром укутанного паха название инструмента, – будто троица слогов оказалась давней заложницей моего желудка: «Да! Да! Он – тюмпанон!» Звуковые осколки внутриземного зла опутали слёзные испарения, взрывами исхитрившись угодить в галопные отголоски, внезапно растоптанные целой ватагой, влившейся в пещеру. Гуляк было по числу пальцев на Сатаровых кистях... «меж мной и ими дамбой – страх... Что это, Владыко?! Точно новая всепланетная вездесущая тяжесть залопатилась в горле препонами моему вольному вою! Вдруг! Сходно нарезанными слогами! Никчёмными! Разумно-угрюмыми! Обузой животворящему гоготу Бога! Но вот и они передо мной, девять дев, – а также не менее юное чрево, породившее их! Плодоносная плоть! Вечность, впаянная в Эрота, корнями переплетённая с Агапе!.. – откуда все эти сл... ллова?! Бэбыбы...и-ы-ы-ы?!..» С девичьих плеч скользнули кобры, ринулись ко мне, – и я смешал свой крик со змеиным присвистом. В девах жила козлиная частица тёмного Господа моего – нетленность, правда разборонённая разумом («сатиррр его раздерри!.. сатир мм-ммёртв...») песни, коей нерадиво подтягивало танцующее с ними животное: двуликое, четырёхногое, разом запускающее пару ошуйц вглубь волнообразно расчёсанных, стянутых лютоглазыми аспидами, белых, но с карминовой косичкой, кудрей.

– Ну! Давай! Погляди на себя, красавчик! – проверещало оно мне злобно (такую беззаконную кровожадность изывали в нас, сатиров, небитые волчата), дрогнув членом, с которого слетело бежевое перо, славно согнутое в дугу, – и я понял его язык, пресыщенный, будь он трижды проклят, рассудком! Прорвало ли на меня дамбу деймоса прежде, чем я разглядел истину? – помню только беспощадный груз полудня и как, заорав в воспрянувшие кобровы морды, я позволил тьме окутать все мои глаза.

Так началось моё постепенное новообретение Земли, отяжелевшей, расколыцованной, лишённой мудробуйствия Господа моего. Царствие его, конечно, оставалось нерушимым: восходя ежеутренне, Божий посредник заливал пещеру до отказа, – так что не выживало ни единой тени. Сам же конунг мира, однако, скрывался где-то там далеко, в дебрях осиротевшей планеты. А я утратил куда больше Земли, потеряв и отца и отчизну. Моя накачанная горечью грудь разучилась хохоту: сердце моё лишь улыбалось, – да и было ли у меня сердце?.. Я перерос сатира. Стал лозой.

И вот я начал выходить, ковыляя, обвив шеи с плечами беспрестанно танцующих дев, тоскливо оглядывая лазурь чужих небес. Но ни неукротимое девятичленное чудище, изредка бунтовавшее против своих невидимых бар, вступая с ними в извилистые пререкания, сиюсь доказать что-то, поджигая все двадцать заусенистых пальцев ног, ни конь-исполин, исполненный доброты к многоочитому мигающему кусту, изгибавший иногда дугой хвост, из-под которого вываливались, тотчас расплющиваемые моими корнями, червонные катыши, – никто не мог заменить мне единственного друга. Тут, ошарашенный воспоминаниями наших бурлящих жестокой лаской забав, я выпускал шип, сталь ностальгии пронизывала меня, заставляя избавляться от очередного плющового листа, крепко прилипшего – будто его там вытатуировали, – где некогда был лоб.

Часто мои ветви отсекались излишне понятливыми руками, знавшими обо мне, судя по их неумолимой точности, поболее меня самого. А чтобы мои молочные зубы не покусали персты садовникам, обычно столь болтливые женские губы восьмилапой бестии приникали к моим устам, переливая мне внутрь и негу, и ту своеобразную крамольную мороку, где благочестие преобладает над бунтом. Затем меня пеленали, и, туго затянутый в шероховатое полотно, я самовосстанавливался, уподобляясь Вечному Циклу недавно уничтоженного мира, со всей пещерной серьёзностью скапливал силу, обратив дозирование духа в свой наипервейший дар. Каждое обрезание наделяло тело моё гибкой мощью – той непредсказуемо-взрывчатой эластичностью, недоступной млекопитающим холопам Хроноса. Так через муку я осваивал Вечность. А она приручала меня.

Невыносимее всего оставалась неискоренимая тяжесть, и когда иная дева произносила слово «тоска», – а я начал брезгливо разбираться в трухе трезвой речи, – то, мнилось мне, говорила она о вседovлеющем грузе, заполонившем Землю. И если, ухватив чародейский осколок воспоминаний о вдохновенном смехе (щекотавшем по старинке сбоку, откуда, как правило, струился сладковатый аромат джунглей!), я силился проглотить горсть воображаемой амриты, ибо в это мгновение я сызнава ощущал себя прежним сатиром с ненасытным желудком, то рябая разумность внезапно хлестала меня наискось, как хлыстом по глазам, приторный пот взбухал из моих пор, и, утерав обловатый обелиск прошлого, я стонал столь витиевато, что мамка, очнувшись от своего сиплого храпа, вскакивала, теряя серпетку, и преданно-осоловело посматривая куда-то поверх меня, так никогда и не разгадавшего секрета её интриганских переглядок.

И лишь когда юдольное бремя становилось вовсе невыносимым и семицветной молнией проскальзывали рудные жилы вкупе с эхом взбалтывания патоки прибором незримого моря, – то мне хотелось туда, назад, вглубь, словно уже в то, начавшее свой рабский разгон время, я чувял себя причиной обрюзглости космоса: мой второродный грех сделал меня эгрегором горя грядущего Земли, – осколком тиаза, ибо до моего нового появления на свет мир не знал идеального индивидуума! А засчленив ёмкую сущность Бытного, я не мог не обратиться в монстра – куст неизвестной даже мне расы, переполненный лихомудрствованием Господа, соучастника моего сверхжизненного преступления. Ужас! И как прежде, в бытность мою сатиром, спасал меня вопль. Исполненные заботы, переходящей почти в куваду, ко мне бросались мои терпеливые няньки, и, уродуя гримасами свои профили (обычно восхитительные, точно Бог вычеканил их из белого мрамора в час архитектонического припадка, свойственного под юль всякому

демиургу), снова принимались отсекал мне лозы, укорачивать рукава, – причём тот запросто свирепевший четырёхрукий зверь орудовал лабрисом, – покуда не оставались лишь штамп да беспомощно дрожащие скелетные корешки, клокотавшие, однако, негой. А что за ярая боль, когда тебе разом выжимают несколько глаз! Я инстинктивно распахивал пасть, и туда, бесповоротно утягивая меня в обморок, из рога заливали окаянное зелье, разившее толикой амриты. Мне никогда не встречалось столь вороной влаги, – разве что подчас морская плёнка-буревестница походила на неё своей чернотой. А засыпая, я вперивал замороженный взор в ропотливое двуликое чудовище, нарезавшее упругие свистящие сферы парой двуглавых же топов, – рискуя отрубить себе одну из ног и оттого вытворяя ими нечто равнолучевое, пышущее жаром (называемое, естественно, пиррихой), там, на песке, голубом, точно отороченные снегом инистые склоны коровых («Кор!.. Ов! Кто-о-обы-ы-ык! Это он раздавил! Помню, вжал меня в земме-е-е-е!...») пастбищ под косыми светоискусками солнца: монстр вертел лабрисами в горниле, докрасна раскалённом, нетерпимом прежним, Сатаровым глазам, – моей нынешней офтальмологической усладе.

Каждая экзекуция делала меня более отзывчивым на разноплановые электрические вспышки, порождаемые прикосновениями дев. Обрезания одной воспитательницы звали к ещё нетанцовой пляске; другая, неотвратимая как мой полорогий убийца, с венчиком из моих листьев, наущала восхвалять Господа веско размеренной прозой, заощрённой рифмами рифм; третья насыщала звездомедием, удовольствием тернистым и ступенчатым, – всё это достигалось пронзительными мученическими разрядами, обезболенными прокладкой обольстительной неги, – ибо страдание созревания сдабривалась остервенелой жадой пенетрации. Да! Проникновение внутрь того фавноподобного люда, с коим меня заочно знакомили руки другой девы, пока её лезвие нащупывало эрогенные зоны младенца-куста.

Всякий раз, очнувшись от наркоза, я ощущал себя отведавшим запретной отравы и ещё чётче рассмотревшим то, что вам пристало видеть словно сквозь тусклое стекло: увечная лоза высасывала из налагаемых, будто божий оброк, грёз потаённую силу, благославленную Ярилой-творцом, – но внезапно, по его же недосмотру придавленную спудом разума, пропитанного пошлостью Потопа. Я словно выдираю у Земли её от самой себя сокрытые клады, насыщаясь ими, и немедля непредумышленно обогащал обобранную планету. Взором разбивал я материю на атомы – нарезая их на янтарные частицы, – подмечал над няньками трепетный нимб, цветом, формой да давлением сообщавший мне сокровенное. И всё это сразу, стихийно – будто кривой рот новорождённого, сожалея о вкусе амниотического рая, искал материнский сосок. Так приучался я к жречествованию, дичась, приноравливался к животному инстинкту первосвященника. Постигая всё сам. Телом.

Да и любые вопросы нянькам были бесполезны: вместо разъяснений девы лишь мелодично подвывали друг другу. Смысл их слов с трудом продирался сквозь плотный плетень привычной плясовой песни. Но как полновесен был ритм! Как выразительно содрогалась хоровая бескопытная стена! Поэтому, сколь иная мамка ни ссылалась на забывчивость, мол, пришла худая черед, зашибло память..., я молниеносно схватывал истину, и мгновенно вокруг моих глаз вздувались крупные капли сахаристых слёз – предтечи будущих таинств. Приторный запах вдруг внедрялся в кору, – так что весь мой ствол пронизывал порочный трепет, прочно закреплявшийся в древесных волокнах. И, исполняясь похотливой лихорадки, я выжидал (как зверёныш, желот ловческого рефлекса, устроившись в засаде), пока сок свернётся, станет различимой на ощупь зявзью и мне наконец позволят выносить зреющие на мне загадочные плоды. Уже тогда я учуял: подлинный жрец – вечно геройствующая мать!

И вот наконец настала моя ночь. Пора меж волка и его одомашненным отродьем! Рождество! Брюхоногая исследовательница защекотала мой глаз рожками, качнула гелиотроповой чалмой, – и взмыла комариная эскадра, звереющая от доступности моих свежих стигматов, пока я в последний раз, с зычным рёвом изо всех ртов – «Ма-а-а-и-и-а-а!» – раздирал

повязки, гоня сон, будто мой Бог пожирал меня, круша зубами ветви, да нахваливал. Никогда не случилось мне очнуться в такое суперлуние! Громоздкая спутница Земли стыдливо уставилась прямо во все мои отверстые зеницы, блаженствуя посреди безупречно круглого хоровода (у-у! утончённейший танцмейстер Уран!) облачков в алеющих буклях. Рядом с луной сверкала оранжевая звезда, под ней же тускнела карликовая коралловая крупинка – обе новые, незнамо откуда взявшиеся. И странно отливали щит с астральным копьём, подвешенные одесную от небесной кифары, с так мощно натянутыми сухожилиями, что фантомной мукой взвыли мои древесные лодыжки, пока лунные лучи налипали на мои веки, нещадно склеивали ресницы. Восхитительный панический разряд выстрелил в меня, – так что впервые затопорщился молодой мох, глянцевою грядкой проросший вдоль моего туловища незадолго до последней пытки, – и тотчас отхлынул, лишь только, продрав глаза, я различил действительно разбудившего меня: у пещерной стены в серебристой кольчуге, окружённый сейчас молочно-голубоглазыми кобрами, около куста бирючины с драными брючинами на голенях, конь, лязгая розоватым рядом зубов, смачно поедая ель, френетически шевелившую некогда подземными отростками (одновременно запальчиво посыпая ошалевший клубок змей бурыми комьями глины), будто дерево молило, правда без особой надежды, о пощаде. Конь поглядел на меня пристально, облизнувшись распознал и задорно закивал, точно попримерявшись к моим лозам, вспомнил о табу. А ель в кровавых ссадинах, неожиданно обуянная страстью пациентской кооперативности с палачом, сама полезла в пасть, – иглы её словно взрывались, прыскавая, уминаемые чавкающим, теперь щедро крашенным зеленью частоколом. Я приклеился к липкому конскому взору (это он в сей же миг и навсегда заразил мои вежды проникновенной догадливостью), срекошетившему вниз, к моим первородным корням, занявшимся самостийным, самозабвенным ростом. И каждый из них, – часть от части моей! – точно кичась кильчиванием, покрывался пробковой бронёй, нацеливался в землю, пусть отяжелевшую, но разрыхлившую свои до поры запрятанные поры. Конь всё крошил хвойные грозди, перемигивая от голода, тем словно науськивал меня на некий проступок. И, вняв его издевательскому призыву, я сделал первый шаг, выдрав уже породнившиеся с почвой росяные корни, молниеносно ошалев от многоцветной, с преобладанием алого, боли, – словно уже политый мёдом ожог вдруг рассекали ледяным лезвием, – однако мой осколок, оторванный, но от того не менее упорно **болящий** жизни, продолжал истощное, украдкой затухающее существование. Так, жёсткой иерархией муки, изогнутой многоцветными плечиками арбалета, я сразу приохотился к участи межчеловеческого ходябщика судеб, пока опять не подчинился воле превращений – бегать. Однако, только я начал отбиваться от будущего, как с меня слетела путешествовавшая по мне улитка, хрустнула спираль её раковины, – и вот я стряхиваю на бинты её ребристые скорлупки, а блаженный наплыв слизистых спондейных воспоминаний водоворотом всасывается внутрь то ли моей души, то ли всей планеты. Не до границ мне сейчас! Ведь я высматривал цель! – огромную, вертикально воткнутую ниже по косоугору чешуйчатую булаву. Молниеносно ошпанная взором, она оказалась пальмой хамеропс с начисто отсечёнными веерами, – и меня повлекло к страдалище, точно нас с ней истерзали для одной, незримо связанной с ритуальным возрождением Земли, целью.

О! Как я кренился при ходьбе! Словно планета не только отучнела, – из неё напрочь вышибло непрочную ось! И я неуклюже расставлял росяные, одновременно яростно вытягивающиеся корни, подчас валясь набок, привыкая к лукавству нынешнего, рахитического притяжения Земли и стараясь не съехать по пологому склону горы, приютившей мои ясли. А пресыщаясь этими ощущениями, я поддавался некоей ласковой, доселе неведомой угрозе, – будто я вплавлялся в мякоть неизвестной мне ягоды, а та в свою очередь набухла из плоти моей. И дико ломило лозы, пока я усваивал чуждые чувства, презирая себя за богомерзкий (гнусный единственному лично знакомому мне Господу!) раскол. Даже горьковатый, источаемый мною запах (излейся такой с дождём – проклянутся грибы да существа схожие со мной), и тот



наслаивался поверх терпкой приторности, неизбыточной, как теперь искривлённый хребет мира, сводившего меня с подчас прорывающегося ума. Но чем отчаяннее я противился новой среде, тем могущественнее просачивалась она через каждый рубец, липла к коре. И не было от неё избавления!

Ещё одно чудо! – я явственно различал томление гранёноглавой пальмы, ясно осознавая её мужественную истому, жажду слияния с женственными сородичами, чей гарем стойко, но понапрасну держался в трёх Сатаровых прыжках от неё. Листья их высохли, коричневая мне сквозь ночь своими ухоженными коготками, и только новорожденная поросль топорщилась нежными стрелами. Как притягательна пальмова любовь с первого взгляда! Но сколь неотёсанна была их зависть ко мне – хромомногоному кусту! Случай, вельможась, порешил за них, рассадив их порознь, – переполнил их вязкой ревностью крепостных, отяжелявшей мой и без того робкий марш!

Всё ближе к оврагу, залитому луной, кругловидной как истина. Свет её алел (или это разбухал мой божественный недуг, рдея на взбудораженный мною мир?!), перемешиваясь с напористым, каким-то даже деловитым, но теперь бесцельно текущим временем. А Вечность, моя подруга, громко захлёбывалась во временном потоке, над которым некогда я мог скользнуть дважды, трижды, несчётное количество раз, – сколько б он ни кишел скользкими дельфинами! И если кто-то ещё составлял безупречный соглядатайский дуэт, так это были мы с Владыкой, познавшим, подобно мне, второе рождение. Ведь Господь – художник, а невзгоды наши – его краски. Только вот не каждый удостоен звания Божественной кисти!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.